

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ



НАДПИСЬ НА СТЕНЕ

ПОВЕСТЬ

Смерть! подумайте, слово-то ведь какое!

М.Е. Салтыков-Щедрин.
“Самоотверженный заяц”

Сколько лет будет она бросаться в глаза тем, кто приезжает в Липы или пролетает в поезде мимо; сколько ещё лет будет она наполнять тоской, пусть минутной, сердца людей, которым известно её значение, или весело удивлять непосвящённых? Это чувство весёлого удивления испытал и я, когда впервые приехал в Липы и, сойдя с электрички, увидел на зелёной стене станционного помещения белую надпись, красиво выведенную масляной краской. “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, — прочёл я и улыбнулся. Мне представился смешной лохматый парень, среди ночи малюющий на стене, чтобы завтра утром день Киры начался с пожелания счастья. Какой-нибудь дурашливый влюблённый губошлён.

В Липах мне поначалу не понравилось — около станции сильно пахло карамелью, — видимо, здесь была кондитерская фабрика. На площади перед станцией царил какой-то строительный хаос: всё перерыто, перекопано, набросано как попало. Но постепенно, удаляясь от станции, я всё более переставал испытывать чувство неприязни. Карамельный запах мало-помалу уменьшался, из ядовито-острого стал нежным, а затем и вовсе исчез; вслед за магазинами и стеклоприёмными пристройками, неряшливостью деловой

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич родился в 1959 году в Москве. Доцент Литературного института им. А. М. Горького. Прозаик и кинодраматург. Автор книг: “Похоронный марш”, “Страшный пассажир”, “Державный”, “Русский ураган”, “Поп”, “Господа и товарищи”, “Митрополит Филарет” и “Алексий II” (серия ЖЗЛ) и многих других. Живет во Внуково.

части всех наших придорожных посёлков пошли симпатичные, уютные дворики, прибранные, с ухоженными домами, утопающими в зелени кустов и деревьев. К тому моменту, когда мне надо было сворачивать с улицы Советской на улицу Достоевского, мне уже решительно нравилось в Липах.

На Достоевского меня облаяли собаки, но зато здесь вовсе была идиллия — с серыми, ноздреватыми колодцами, с детьми, библикающими в подзаборных кучах песка, с петушиным пением и квохтанием кур. Наконец, я дошёл до Чистого Просека и сразу понял, что сухонькая женщина в синем платье, стоящая у калитки с номером 3, и есть моя будущая хозяйка, Любовь Никитична.

Сашка оказался прав: флигелёк, который он тут снимал, а теперь сосватал мне, действительно был очень хорош: маленькая терраска со столиком, шкафчиком, тремя стульями и газовой плитой и небольшая комнатка с кроватью, платяным шкафом и этажеркой. Самое главное — ни в чём не было пошлости: светло-серые обои, занавески в светло-голубых и тёмно-голубых полосах, на кровати — синее покрывало, мебель вся одних тонов, тёмно-коричневая, а под потолком — люстра с голубовато-серыми плафонами.

— Что же, мне очень нравится, — сказал я. — Когда можно въезжать?

— Хоть сегодня. Вы один будете жить?

— Один. На три месяца. Сегодня у нас четвёртое? До первого сентября — почти ровно три месяца. Деньги могу заплатить сразу.

— Это хорошо. К вам кто-нибудь приезжать будет?

— А что?

— Желательно, чтоб немного. Ну, родители, жена — это я не против. А если друзья приедут, то чтоб не очень много.

— Из друзей ко мне может только один приятель приехать, родители мои в Питере, и я сам к ним в июле на недельку съезжу, а с женой я развёлся. Полгода назад.

— Развелись? Сколько ж вам лет?

— Мне двадцать семь, жене двадцать шесть.

— А дети есть?

— Слава Богу, нет.

— Слава Богу. С вас-то чего, утекло и забылось, а вот детей жалко. Ну, ладно. Значит, когда въезжать думаете?

— Да прямо завтра и въеду, должно быть.

— Вот, возьмите ключи. И что же — добро пожаловать, как говорится. У нас в Липах хорошо, отдохнёте как полагается.

В тот вечер, уезжая из Лип, я уже не помнил странной надписи на стене станционного помещения, тем более что она находилась с той стороны, куда подъезжают электрички из Москвы. Со стороны же поездов, следующих к Москве, на стене станционного помещения фигурировали обычные надписи: ЖИХАРЬ — КОЗЁЛ, ВОВАША — ИНТЕЛЕГЕНД ВШИВЫЙ, всякие отметки о том, кто здесь был и когда был, кто с кем плюсуется, а также всплески нецензурных эмоций.

На другой день я приехал в Липы на такси — привёз вещи, кое-какую посуду, книги, телевизор. Только через неделю моё внимание вновь привлекла странная надпись. Понадобилось съездить по делам в Москву. Вечером я с огромным удовольствием возвращался в Липы. За неделю силы мои окрепли, я загорел, чувствовал себя превосходно. Я ехал, предвкушая сладкий запах карамели, который по мере приближения к Чистому Просеку сменится живым запахом лип, расцветших как раз в первую неделю моего пребывания в Липах, словно спеша доказать мне право посёлка на своё наименование. Я вышел из электрички, и в лицо мне вновь дохнула трогательная надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”. И я вновь улыбнулся ей и запаху карамели, который теперь не был таким сильным, поскольку сгущались сумерки и карамель, уже, наверное, готовая, остывала. На площади перед станцией я почерпнул сведения о том, сколько весит обычный, средней упитанности голубь — там стоял лоток, с которого, видимо, ещё недавно что-то продавали и не успели убрать весы; на этих-то весах и сидел сизарь обыкновенный,

а стрелка показывала 330 граммов. Идя по Советской, я снова начал гадать об авторе счастливого пожелания. У ворот местного парка культуры “Молодость” толпились парни и девушки — там продавали билеты на танцплощадку, с эстрады доносились звуки настраиваемых электрогитар. Может быть, это какой-нибудь липовский ухаждёр встречал свою девушку откуда-нибудь из соседней Доилловки и, желая усугубить приятность ожидаемого танцевального вечера, расстарался и написал ей приветствие? Смешно и в своей наивности очень мило. Правда, чего-то в этом “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” не хватало. И я понял. Не хватало восклицательного знака. Действительно, почему он не поставил его? Он не мог его не поставить, рука, не задумываясь, начертила бы. Сама наивность надписи заставляла автора усилить, выказать свою восторженность восклицанием, а то и двумя-тремя, чтобы Кира не усомнилась в горячности его чувства.

Я вдруг ощутил какую-то тревогу, подумал о том, что значение надписи могло быть не только наивно-оптимистическим, но и печальным. Возможно, в этом анонимном пожелании звучала горечь разлуки? Кира вышла замуж за соседнего доилловца или покровца, а то и за москвича, и бывший её ухаждер, Витька или Валерка, в сердцах намалевал ей на дорожку, чтоб она почувствовала, какой он хороший и как горько ему отдавать её в чужие руки. Может, это даже “козёл Жихарь” или “вшивый интелегенд Воваша”?

Но я шёл по Достоевского, и внезапно поселившаяся во мне тревога, отразившая, должно быть, мои собственные недавние горести, подсказывала мне, что за словами “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” стоит нечто даже более печальное и, возможно, даже более нелепое, чем мой развод. И более страшное, чем смерть моей жены, когда её новый мужчина, за которого она собралась замуж, не справился с управлением своего роскошного автомобиля.

В тот же вечер я в общих чертах всё и узнал. У хозяев испортился телевизор, а Любви Никитичне ужасно хотелось посмотреть последнюю серию лихого теледетектива из западной жизни под названием “Мираж”, и они с мужем пришли ко мне.

— Что у вас в Липах за Кира такая, что ей лозунги пишут? — спросил я, наливая хозяевам чай.

— Кира-то? — живо откликнулась Любовь Никитична, и было заметно, что ради Кире она без особого сожаления отвлекается от телевизора. — Да была у нас такая. Не пришей кобыле хвост. Повертела дай Бог.

— А что за чудак на станции в её честь расстарался?

— Да уж, чудак. Я бы ещё покрепче слово сказала, какой чудак на букву “мэ”. Наломали они тут с этой Кирой дров.

— А что такое?

— Что такое? Под поезд бросился, вот что такое. А матери-то каково! Об матери не подумал. Это, конечно, ему себя показать хотелось, мол, вот какая любовь у меня. Кирке-то. А ей на него, дурака, “тьфу”, да и всё.

— Насмерть?

— Конечно, насмерть. Под скорый — это тебе не под велосипед.

— Она что, на него внимания не обращала?

— Она-то? Поначалу вроде нос драла — они в одном классе с Серёжкой учились, он ей цветы покупал, на день рождения духи один раз, не то французские, не то арабские, какие-то дорогие. А она тогда с каким-то из Покровки мотоциклистом гуляла. Потом с мотоциклистом врозь — и будто как бы у них с Серёжкой было что-то между собой. Видели, говорят, что он к ней в окно лазил, да и вообще... Но замуж она за него ни в какую. Он хоть и шалопутный по молодости, а хороший парень был. На шофёра выучился, в армии отслужил, после армии автобусом правил, двести двадцать, да на гитаре играл на танцульках — за это ведь там тоже платят! — чего ей ещё надо? А ей в Москву хотелось, прямо засвербило — за москвича выйти, красиво жить. Как я этих, которые за москвичей стремятся, ненавижу! Да и самих москвичей не люблю.

— Люб! — одёрнул её муж. Она поняла, спохватилась:

— Я не к тому, чтоб всех москвичей. А всяких там, из ваших, которые только по ресторанам да с иностранцами замешаны. Вот и Кира эта самая,

как она вон, — Любовь Никитична кивнула на главную героиню заканчивающегося по телевизору фильма, — тоже красиво жить захотела. Нашла себе в Москве какого-то и уехала с ним в Москву. Замуж или так просто, это неизвестно. Мать её говорила — замуж, а там кто их знает, сейчас же это не всем обязательно.

— И он тогда под поезд?

— Ну, и он под поезд. Всё ей доказать хотел. А что доказал, дурак? Самому себе и доказал. Да матери своей, что она напрасно жизнь прожила.

— А надпись он заранее написал?

— Конечно, загодя, не опосля же. Чудной ты вопрос задаёшь.

— Нет, я имею в виду, тогда же, когда и под поезд бросился?

— Перед самым тем, как броситься. Из фурскалки написал и прямо сразу прыгнул.

— Не из фурскалки, а из баллончика, — поправил Любовь Никитичну муж.

— Ну, из баллончика, какая разница.

— Большая разница. Ты скажешь, а человек не поймёт.

— Подождите, разве там из баллончика? — спросил я. — Там же вроде кистью выведено.

— Так это дружки его, Игорь да Юрка, подновляют. Ту-то, Серёжкину, ещё когда покрасили, а они всякий раз по новой пишут.

— Зачем?

— Дураки тоже потому что. Они всё хотят, чтоб Кира прочла. А она с тех пор и не появлялась.

— Вот оно что...

— Да, вот так. Ну, давайте досмотрим, чем тут дело кончится. Возьмут их или нет, чертей...

Скоро “чертей взяли”, и фильм закончился. Хозяева ушли, а я стал смотреть чемпионат мира по футболу, игра увлекла меня, но история Киры и Серёжки не шла из головы. Когда судья дал финальный свисток, я выключил телевизор и отправился побродить по посёлку.

Не знаю, почему я так сразу ухватился за эту историю, почему меня так сильно потянуло разобраться во всех подробностях, не довольствуясь скучной схемой события, нарисованной мне Любовью Никитичной. Может быть, в чужой трагедии я искал какой-то компенсации, какого-то возмещения собственной жизненной аварии.

Нелепая, глупая история — смерть вдгонку, старательные друзья, любовь, превращённая в фантик...

Оказалось, что танцы в парке культуры “Молодость” устраиваются каждую пятницу и субботу. В надежде встретить там Игоря и Юрку или кого-нибудь ещё, поговорить, расспросить, узнать, я и отправился на танцы. К тому же и Любовь Никитична меня подзадорила: “Ну, чего ты всё один да один киснешь? Сходил бы на танцульки, развеялся, девок пошебуршил. Хватит тебе тосковать”.

Купив билет и пройдя на танцплощадку, я сразу почувствовал себя весьма неуютно: все стояли группками, о чём-то оживленно болтали или со значением безмолвствовали; кроме того, на меня обратили внимание, и то и дело я ловил на себе презрительные взгляды парней и любопытствующие пощёлкивания глаз девушек. Проблема — с кем танцевать — обещала стать острой, поскольку чувствовалось, что каждая девушка прочно закреплена либо за какой-то компанией, либо индивидуально за каким-то парнем. Итак, пока гитаристы и барабанщик настраивали на сцене свои орудия, я в весьма шатком расположении духа бродил вдоль танцплощадочной изгороди и рассматривал привешенные к ней фотографии знаменитых певцов. Благо, что можно было курить — с сигаретой в подобной ситуации как-то не так неприкаянно выглядишь.

Но вот гитаристы встали наизготовку, барабанщик сделал турне по всем своим ударным причиндалам, и бас-гитарист с громким пафосом и в то же время не без развязности объявил:

— Мы приветствуем всех собравшихся здесь отпраздновать окончание субботнего дня. Привет всей честной компании! Рок-группа “Лепрозорий” приветствует вас в составе: солирующая гитара — Юрий Дёмин, лидирующая гитара — Николай Жихарев, барабанные перепонки — Игорь Чурлов и басирующая гитара, то есть я — Юрий Робот.

Сначала они весьма бойко сыграли быстрый рок. Тот, которого Робот назвал Юрием Дёминым и который, не исключено, был из тех, кто подновляет надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, пел по-английски, но слов разобрать было невозможно. Я стоял в стороне и думал, те ли это Игорь и Юрка, о которых говорила Любовь Никитична, и какой из двух Юриев — Юрка, Дёмин или Робот. Народ всё прибывал, и я заметил двух девушек без сопровождения — видимо, их кавалеры ещё не подошли. Быстрый танец кончился. Робот вновь подступил к микрофону:

— А теперь по традиции мы исполним медленную песню, посвящённую памяти бывшего участника нашего ансамбля. Он погиб прекрасной смертью, чтобы люди знали, что на земле ещё есть лирическая любовь, Любовь настоящая. Итак, памяти Сергея Лалакина, слова Юрия Дёмина, музыка Юрия Дёмина и Николая Жихарева — “Будь счастлива, Кира”.

Вот этого я никак не ожидал. От удивления у меня даже мурашки побежали по позвоночнику. Упускать такой момент было нельзя. Я подошёл к двум девушкам и пригласил одну из них. Она согласилась, хотя и как-то странно хмыкнула, бросив взгляд на подругу. Мы стали медленно кружиться в танце, и я сказал:

— Меня Сергеем зовут, а вас?

— Света. Можно на ты.

— Ол райт. Как ты думаешь, мне как москвичу можно здесь присутствовать?

— Отчего ж нельзя! Станный вопрос. Ребята, конечно, могут поинтересоваться, кто такой, но ты, главное, не бэ.

Краем уха я прислушивался к словам песни. Они были до досадного нелепы. В припеве пелось:

*Будь счастлива, Кира,
Будь счастлива, Кира,
Ты можешь, конечно, объездить полмира.
Но только запомни,
Старайся понять,
Что в Липы тебе лучше не приезжать.*

— Что за название — “Лепрозорий”? — поинтересовался я. — Почему не “Колумбарий”, не “Крематорий”? У вас тут что, лепрозорий где-то поблизости?

— Ну, ты, москвич, даёшь! Стругацких читал?

— Нет, а что?

— Ну, ты что, с луны свалился? У Стругацких есть книга, у нас её все читали. Там настоящие, ну, в общем, умные, всё знающие, их там в лепрозории держат.

— Как называется?

— Не помню, как точно. Но название — класс. Необычное очень. Классная вообще книга. Прочти обязательно. Вообще Стругацких каждый уважающий себя чувак должен читать.

— Ну, вовсе не обязательно, — возразил я и, чтобы как-то завоевать авторитет, придумал какого-то Стаса Рублёва, которого совсем нигде не печатают, но можно прочесть машинописные экземпляры, они ходят по рукам, при желании можно достать, хотя очень трудно. Я на ходу стал придумывать и пересказывать Свете содержание романа Стаса Рублева “Бешеные”, развивая сюжет одного забавного фантастического рассказа, который мне довелось однажды прочесть со скуки в самолёте. Я перенёс действие в наши дни и к нам, добавил немного сексуального перчика, бросил шепотку сюрреализма, и враньё сварилось славное, Света несколько раз проронила словечко “кайф”, а когда танец кончился, она сказала:

— Если хочешь, можешь ещё потанцевать со мной.

Следующие два танца были быстрые. Мне понравилось, что Света такая живая и весёлая девушка. Она неплохо танцевала, часто сверкая улыбкой, показывающей, что ей нравится двигаться и мелькать под музыку. Когда быстрые танцы сменились медленным блюзом, я с удовольствием привлёк к себе раскрасневшуюся, чуть разгорячённую Свету. Она попросила дорассказать роман Стаса Рублёва. Ловко закруглив сюжет “Бешеных”, немного покропив его читанным в “Иностранке” рассказом Гийома Аполлинера, я спросил Свету:

— А что это за Кира, которая может объездить полмира? Что за Сергей Лалакин, погибший прекрасной смертью? Это он надпись на станции написал?

Света сделала серьёзной и важной, как семиклассница, получившая приглашение в кино от десятиклассника.

— Не смейся. Это всё очень не смешно. Потом тебе расскажу. Хочешь, пойдём прогуляемся. А то вон пришёл один парень, сейчас начнёт ко мне приставать.

Когда мы выходили с танцплощадки, этот “один парень” бесцеремонно схватил Свету за предплечье:

— Куда же ты, Светик?

— А ну не хань! — вырвалась Света. — Пошли, Серёж.

— Ну-ну, — промгчал “один парень”. Мы вышли. Я ждал погони, но она не последовала. Мы зашагали в сторону станции.

— Ты на даче, что ли, здесь живёшь? — спросила Света.

— Нет, снимаю комнатёшку. На Чистом Просеке.

— С женой или с родителями?

— Один. Жёны у меня нет. Развёлся.

— Ты бросил или она тебя?

— Она. К другому ушла.

— Молодец, не скрываешь, что она — тебя. Не выпендриваешься. Беденький. Соскучился, наверно, по обнималкам?

— Соскучился, — кивнул я и, правильно расценив Светин вопрос как приглашение, обнял её правой рукой за талию.

Хотя ещё было вполне светло, на станции уже зажглись фонари. Пробежавшая электричка вытряхнула на платформу человек пять с сумками в обеих руках. Мы протопали по гулкому подземному переходу, и железная дорога осталась у нас за спиной. Света была немножко полненькая, но совсем чуть-чуть, ей даже шло, приятно было держать её за талию и слегка прижимать к себе, тёплую и мягкую. Мы стали спускаться к озеру. Миновали забор кондитерской фабрики, откуда и струился карамельный запах. Света работала на ней. Ещё, пока мы шли к озеру, я узнал, что она в прошлом году только закончила школу, а все липовские парни ей уже “до чёртиков надоели”.

— Я вообще-то сегодня не собиралась идти на танцплощадку, — сказала она, когда мы вышли к озеру.

— Это почему же?

— Так. Не люблю танцы в субботу. В пятницу — люблю. Знаешь, что ещё завтра суббота, и снова танцы. И что снова можно допоздна. В пятницу лучше всего. А потом что-то всё-таки потянуло.

— Что же, если не секрет?

— Не секрет. Только я сама не знаю. Подумалось: а вдруг?

— Что — а вдруг?

— Ну, а вдруг — что-нибудь этакое. А ты почему вчера не приходил? Вчера так весело было.

Я остановился. Света повернулась ко мне лицом, Я притянул её к себе, и мы стали целоваться. Когда поцелуй кончился, Света отстранилась и глупо сказала:

— Вот этого больше не надо.

Я засмеялся:

— Почему? Разве плохо?

— Не плохо. Но и ничего хорошего — прямо так сразу. Смотри-ка, кто-то костёр жгёт. Вон там, видишь? А хочешь купаться?

— Не очень.

— А я хочу. А ты почему не хочешь?

Она стала раздеваться. Сняла тенниску, потом через голову стянула пышную полосатую, прошлогодней моды юбку и стала развязывать шнурки кроссовок. Оставшись в одном купальнике, протянула мне юбку и тенниску, чтоб я подержал. Смело вошла в воду, густую, как смола. Поплыла, обмакнув в воду концы трепыхающихся кудряшек. Мне было хорошо и не хотелось думать ни о Лалакине и Кире, ни о недавнем своём разводе, ни о смерти жены.

После дождливого, тучами обёрнутого дня сумерки давали о себе знать раньше обычного. Над водой обильно парило, очень тёплый вечер наполнял испарениями берег. Послышались чьи-то шаги. Стоя с одеждой Светы в руках, я подумал, что по законам жанра именно сейчас должен появиться с энергичными приятелями тот Светин парень. Я оглянулся. Действительно, это был он, только вместо приятелей с ним оказалась приятельница. Они шли обнявшись и дымили сигаретами. Приблизились к воде.

— Это Светка, что ль, твоя там плавает? — спросила девушка.

— Светка, — ответил парень.

— Свет! Как водичка? — крикнула девушка.

— Мокрая, — отозвалась Света. — Людж, ты, что ли?

— Я. А со мной-то, видишь, кто? Если тебе не надо, он теперь мой будет.

— Бери!

— Ага, ну, мы пошли.

Они отправились вдоль кромки воды в противоположную от меня сторону, а Света поплыла к берегу. Выйдя на сушу, тряхнула кудрями и выдохнула:

— Кайф. Чего они у тебя спрашивали?

— Ничего. Они даже не подходили ко мне.

— Но ты вообще-то поосторожней теперь ходи. Фофан — что такое, он тебе не простит. Ты драться-то умеешь?

— Приходилось раза три.

С неба просыпалось несколько крупных капель, проурчал гром. Света забралась в кабинку для переодевания и вскоре вышла одетая, стала выжимать купальник.

Дождь посыпал не на шутку.

— А я-то надеялась, хоть вечером дождя не будет. Пошли скорее.

Мы не пошли, а побежали, потому что дождь всё усиливался. В гулком подземном переходе на станции кроме нас от дождя пряталось ещё человек двадцать.

— Зря переодевалась. Надо было в купальнике бежать, — сказала Света. Тенниска на ней вымокла. Руки Светы покрылись мурашками, губы посерели. Она вдруг сделалась совсем незащитной.

— Что нам дождь, побежали, — предложил я.

Дом Светы оказался на улице Чкалова, вдвое ближе от станции, чем мой — на Чистом Просеке. Добежав до калитки, Света сказала:

— Если завтра будет солнце, найдёшь меня днём на озере.

— А если опять дождь? — спросил я.

— Значит, не судьба. Найдёшь в какой-нибудь другой день. Ну, всё, я побежала. Захочешь — встретимся.

На другой день мы загорали с ней на берегу озера. На чистом, без единого облачка небе висело горячее, жгучее солнце, от которого каждые пять минут хотелось залезть в воду. Очень скоро я, лёжа на спине, держал в своей ладони руку Светы, легонько поглаживая её пальцами.

— Как у вас, парней, всё просто, — жаловалась мне Света на нас, парней. — Вам бы только поскорее раз — и в дамки. Легко вам живётся. Никаких трудностей. Сегодня — одна, завтра — другая. Не очень-то огорчаешься в жизни.

— Да, — сказал я. — Особенно этот ваш Лалакин.

— Это исключение.

— Да? А по-моему, просто неврастеник.

— Сам ты неврастеник! — она выхватила из моей руки свою и приподнялась, опершись на локоть. — Ты знаешь, кто такой Серёжка Лалакин? Серёжка — это не то, что вы все.

— Кто же он? Святой Януарий?

— Сам ты святой Януарий! Серёжка был настоящий. И он доказал всем, что такое любовь.

— Неужели нельзя было как-то иначе доказать?

— Представь себе, нельзя. Она же уехала. Навсегда, понимаешь? А он без неё не мог.

— Она что, так была хороша?

— Кира? Стерва порядочная. А вообще-то, честно говоря, я ей даже завидую. Она волевая. И она у нас самая красивая была в Липах. Знаешь, как к ней ребята клеились!

— Интересно. Ты мне вчера обещала рассказать.

— Да что я могу рассказать. Мне тогда четырнадцать лет было...

В тот год, когда Кира вышла замуж за москвича, а Лалакин бросился под поезд, Свете было четырнадцать лет. Это было время, когда ей горячее, чем когда-либо потом, мечталось о любви и о том необычном и таинственном, даже роковом, что её окружает. Больше всего тогда обсуждались отношения между Серёжкой Лалакиным и Кирой Февралёвой. Однажды в самом начале лета Света купалась с одноклассницами в озере, было уже очень поздно, смеркалось, купание в тёплой воде доставляло чрезвычайное удовольствие, и вдруг одна из подружек с благоговейным ужасом в голосе сказала:

— Ой, девочки, это они!

И уже не надо было объяснять, кто — они, и так ясно, что худощавый парень с открытым и светлым лицом — Лалакин, а смуглая, темноволосая красавица — Кира. Она проплыла мимо них, сверкнув в их сторону глазами шемаханской царицы, и заплывла на самую середину озера, а он стоял у берега по пояс в воде и смотрел на неё, как она плывёт. И всем девочкам непременно захотелось выйти из воды около него и даже заглянуть ему в лицо. Так они и поступили, а Света даже отметила, что у Лалакина на плече крупный шрам.

— Ой, девочки, какой же он всё-таки, прямо так и светится! — сказала потом одна из подружек, Люся Петрова.

— У него прямо на лице написано, какая им владеет любовь, — добавила другая, Анжелка Савина.

— Ой, а я вам скажу, ничего в нём такого особенного нет, — неожиданно возразила Ленка Харитоновна. — Даже больше скажу: он её, девочки, не стоит. У неё ведь и глаза, и волосы, и фигура — всё такое царственное. А что такое он? Ну, что такое он? Обычный парень, каких миллионы. Нет, вы как хотите, а я вот как скажу: она — роковая женщина, вот что. А он — одно слово: Лалакин.

Света молчала. Она никак не была согласна с Ленкой, но и примитивные восторги Люси и Анжелки не вызывали в ней ответа, хотя попробуй она сама выразить то впечатление, которое в ней осталось при виде Киры и Лалакина, вряд ли у неё получилось бы что-нибудь лучше, нежели “прямо так и светится” или “прямо на лице написано”. Поэтому она молча смотрела, как в сгущающихся сумерках Кира чуть заметно двигается в центре озёрной поверхности, а Лалакин плавает вокруг неё кругами, то переворачиваясь на спину и делаясь похожим на пароход с лопастями, то уходя под воду, а вынырнув, принимается делать рывки, как дельфин. Она была уверена, что когда они выберутся на берег, то непременно поцелуются, но этого не произошло — Лалакин всё так же держался от Киры на расстоянии, хотя та, кажется, была с ним очень приветлива. Он закурил, но она чуть слышно попросила: “Не кури”, — и он тут же потушил сигарету. Потом девочки брели за ними и подглядывали, как, дойдя до Кириной калитки, Лалакин обнял Киру и, притянув к себе, нежно поцеловал её в переносицу, а она сказала:

— Встретимся послезавтра, хорошо?

— Хорошо, — ответил он. — Как ты захочешь.

Дальше девочки преследовали уже одного Лалакина. На Железнодорожной улице от них откололась Ленка, на Советской ушла домой Люся, и лишь они с Анжелкой шли за Лалакиным до конца, потому что им хотелось точно знать, где он живёт, как выглядит его дом. Лалакин жил на дальней улице Энтузиастов в доме, разделённом пополам, причём это разделение даже обозначалось высоким забором и у дома было два хозяйских участка. Лалакин поднялся на крыльцо, обернулся и вдруг помахал Свете и Анжелке рукой, из чего им нетрудно было сделать вывод, что он знал об их преследовании. Затем он вошёл в дом, и вскоре одно из двух окон, выходящих на улицу, засветилось.

И Света подумала: вот ведь оно — счастье. И вспомнилось, как рассказывали, будто Лалакин при всех жёг на свече руку, показывая Кире, как он её любит. И шрам этот на плече — тоже ведь, наверное, что-нибудь эдакое, не просто так. Доказательств любви Лалакина в изустных пересказах бродило много — корзина цветов, обнаруженная Кирой однажды утром у себя под окном, фантастические французские духи, ради которых Лалакин перед одним из дней рождения Киры пропал в Москве целых три дня, а кто говорил — и неделю, умопомрачительные песни, которые он сочинял в честь своей любви и распевал на танцах вместе с вокально-инструментальным ансамблем, где Лалакин играл на гитаре и сам пел; к лобовому стеклу его автобуса была прилеплена большая фотография Киры, тогда как у всех водителей красовались либо персидские коты, либо женские ножки с чулочных упаковок, либо генералиссимус Сталин при всех орденах.

Вскоре Света узнала и историю происхождения шрама, и это было настолько эдакое, что дух захватывало. Оказалось, что у Киры до недавнего времени ещё держался роман с каким-то мотоциклетным гонщиком из Покровки, которого звали Лёшка Джонленнон. Гонщик повёл себя с Кирой очень некрасиво, путался одновременно с обеими липовскими чувырлами — Зеброй и Простынёй, — и в прошлом году осенью Серёжка Лалакин по просьбе Киры накостылял Джонленнону, когда тот стал приставать к ней. Джонленнон приехал в Липы с компанией покровских, и после танцев около парка культуры произошла серьёзная стычка между ними и липовскими, во время которой Лалакину рассекли плечо велосипедной цепью. Несчастье послужило Лалакину на пользу — Кира почувствовала влечение к нему, ведь он даже в больницу попал из-за неё, и зимой случилось то, о чём все говорили: “между ними что-то было”.

Как же Свете хотелось тогда, чтоб и у неё *что-то было*, но именно такое, как у Лалакина и Киры Февралёвой: догорает свеча, они с болью, роняя последние поцелуи, отрываются друг от друга, вот он уже одет, в последний раз до крови целует её жадный рот и тихо, замедленной стёмкой, выпрыгивает из окна, а она, прикрыв левой рукою обнажённую жаркую грудь, правой тычется за ним в это колючее морозное утро, не чувствуя холода, воспалённо дыша и не умирая лишь потому, что завтра ночью, если его не убьют соперники, счастье повторится вновь...

Загорая на озере, Света невидящим взглядом смотрела в небо и слышала, как скрипят по снегу *его* шаги.

Но *он* всё не появлялся. Крутился одно время Вовка, сын директора карамельзавода, Вовик-Бобик, паршивенький такой скелетик, лез с девчонками в карты играть и приставал к Светке:

— На что спорим, туда и обратно пять раз озеро переплыву и не окочурюсь!

— Да лучше бы окочурился, — рассердилась Света, и он как-то быстро после этого отстал.

Нежелание Киры выходить замуж за Лалакина изрядно затянулось и уже раздражало всех без исключения. И уж ничем иным это не могло закончиться, как тем лишь, что в конце июня разнёсся слух: Кира уволилась из поликлиники, где работала медсестрой, и вот уже неделя, как исчезла из Лип. Лалакин в компании друзей признался, что обязательно и очень скоро врежется в столб, потому что в некоторые минуты абсолютно не владеет собой. А Кира вскоре объявилась. Её привёз на “Жигулях” “роскошный чел”,

они побросали в “Жигули” кое-какие Кирины вещички, Кира сказала матери, с которой постоянно пребывала в отношениях взаимного бойкота, что выходит замуж за москвича и больше в Липах не появится. Лалакину сообщили о появлении Киры с небольшим опозданием — он рванулся на своём автобусе, но догнал “Жигулёнка” лишь километрах в двадцати от Лип. Загородил беглецам дорогу и вынудил Киру выйти для разговора. Она сказала, что выйдет ли замуж — неизвестно, но то, что в Липы уже никогда не вернётся, это точно. Он грозился, что убьёт её и себя. Она осталась равнодушной. Вечером Лалакин вернулся в Липы, раз двадцать рассказал о том, что случилось на шоссе, и пьяный бродил по посёлку, истошно крича. Света слышала его крики и плакала о нём.

В тот знаменательный день 11 июля Серёжка Лалакин в сопровождении Кольки Жихарева и Юрки Дёмина появился на платформе станции Липы торжественный, даже весёлый...

Меня прямо-таки подкинуло от удивления:

— Как! Они что, были в тот момент с ним?

— Ну, а я про что тебе говорю, — ответила Света. — Они с вечера у Жихаря гудели, но утром были как стеклышки. Дёма и Жихарь были с ним на платформе, Серёжка из баллончика написал “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, простился с ними и прыгнул. Поезд шёл Москва—Алма-Ата. Дело было в воскресенье. Мне мать сказала, я, как узнала, — бегом туда. Его уже достали и увезли, а Жихаря с Дёмой — в ментовскую. И что удивительно: когда его достали, он совсем никак не изуродованный был, только мёртвый. И улыбка на лице. И перед тем, как броситься, говорят, весёлый даже был, даже шутил.

— Погоди, ведь это же подсудное дело, что они с ним при этом находились.

— Подсудное, — кивнула Света. — Но они отверглись. Сказали, что ни о чём таком не догадывались. Мол, шли купаться на озеро, а Серёжка и говорит: погодите, мол, я только кой-какую надпись хочу сделать. Даже нашли свидетеля, который подтвердил, будто они его удерживать хотели, да не успели.

— А может, они и впрямь не знали?

— Ну, да, не знали! Он с ними даже обнялся на прощание. Только ты смотри, ляпнешь кому, ребята тебя из-под земли достанут. Правда, Жихарь с Дёмой говорят, что они всё равно до самого конца не верили, что он это делает. А он взял и сделал. Вот он какой был, Серёжка Лалакин! А ты говоришь — святой Ягуарий. Тут настоящая любовь была, а не святой Ягуарий.

— Но ведь это подло, что они знали и не отговорили его, позволили ему сделать эту дурь! — сказал я.

— Ничего не подло, — возразила с уверенностью Света. — Ведь ему уже ничего не оставалось теперь в жизни. Трудно это понять тем, которые никогда не любили.

Я увидел, что возражать Свете бесполезно.

— Ну, а ты? — спросил я. — Любила?

— А то, можно подумать, не любила! Представь себе, ещё как.

— И чем же твоя любовь кончилась?

— Представь себе, ничем. Он козёл оказался.

— И что же ты жива? Не бросилась под поезд?

— Это из-за такого козла-то?

— А что, прекрасно. Написала бы: “БУДЬ СЧАСТЛИВ, КОЗЁЛ”, и — вперёд!

— Ты циник такой, вообще, на фиг!

— Ну, не сердись. Расскажи лучше про своего козла.

— Да не хочу я про него рассказывать. Вон видишь ту девицу? Это и есть Зебра. Издалека ещё ничего, ещё можно подумать, а при ближайшем рассмотрении — полкило краски. А уж пьянь!

Танцы в Липах имели известность, и когда рядом, возле Доиловского водохранилища, началось строительство комбикормового завода, в парке

культуры “Молодость” заметно прибавилось незнакомых парней и девушек. Среди них оказались и кавказцы. Однажды на танцплощадку пришли трое. Впереди возвышался тёмный, пышущий здоровьем красавец в свитере с надписью “Jeans Club” и в джинсах с британскими флажками на задних карманах. Сверкнув двумя симметричными золотыми зубами, он сказал:

— Эх, пит буду, гулят буду, русский девушка обнимат буду!

Света случайно очутилась на его пути.

— Здравствуйте, — сказал ей красавец. — Очень приятно познакомиться. Меня зовут Казбек. Вы танцуете?

Этого было достаточно. Света попала во власть к Казбеку, они танцевали, они бродили под ручку по парку, в единственном липовском кафе “Прага” они ели шашлык, которого никогда раньше тут не подавали, и пили портвейн “Кавказ”. Удивительно, как мало оказалось нужно, чтобы превратить скромный подмосковный посёлок в полуужный полукурорт. Музыканты играли кавказскую народную мелодию, и Казбек с двумя приятелями, Мухаммедом и Хасаном, с большим азартом плясали. С Мухаммедом была Вика — девушка со стройки, а Хасан подобрал здешнюю, липовскую Зебру. Потом они шестером покатали в Доилловку. Там, на берегу водохранилища, горел огромный костёр и много парней и девушек сидели вокруг него. Пели под гитару. Свете казалось, что с юга они вдруг переместились куда-то в Сибирь, на ударную стройку — штормовки, русобородые лица, романтика, свежий ветер, даже комаров как-то больше обычного. Казбек спросил:

— Света, ты совершеннолетняя, да?

Это было год спустя после гибели Лалакина. За это время Света повзрела, у неё выросла грудь, всё округлилось. Ей исполнилось пятнадцать. Она ответила:

— Конечно. А ты думал!

— Тогда пойдём в лес погуляем, — предложил Казбек.

— Пойдём, — согласилась она.

В лесу Казбек сказал:

— Ты когда-нибудь целовалась с парнями?

— А ты думал! — сказала Света, вся пылая. В груди у неё сделалось как-то тоскливо и в то же время сладко.

— А ну, дай, проверю, — сказал Казбек и очень сильно стиснул её в своих объятиях. Она пискнула и взбрыкнула, а он огромным ртом своим проглотил её губы и втянул в себя. Света чувствовала, что надо что-то сделать, но не могла. Где рука, где нога, где что, она не знала. Казбек повалил её, и прикосновения холодной травы и росы были удивительно приятны. Ей было больно и торжественно, она вцепилась ему в кудри и трясла его голову, и всё сотрясалось, а сердце стучалось об землю. Потом он встал и сказал:

— Эх, хорошо!

И тогда она почувствовала, что на холодной земле лежать неприятно, что за шиворотом что-то колется. Поднимаясь, она вернула на место всю одежду, отряхнулась и сказала:

— Проводи меня до станции.

Неделю, а то и больше, она ждала, что Казбек встретит её где-нибудь и снова поведёт гулять. В душе у неё горело, как никогда. Поехать самой в Доилловку? Нет, она полагала, что ещё не время так унижаться. Все вечера бродила по Липам и вдруг однажды увидела, как к дому на Тихорецкой подъехали синие “Жигули”, из которых вышла Кира Февралёва и прошла в свой дом. Ровно год спустя после того, как дала обещание никогда больше не появляться в Липах. Фирменная песня “Будь счастлива, Кира” ещё только-только прозвучала тогда на танцах в парке культуры в исполнении группы “Лепрозорий”. Но в этот раз угрозы в адрес Киры не были выполнены, потому что Кира, как выяснилось на следующий день, приехала хоронить свою мать. После похорон они с мужем заколотили дом и благополучно уехали, а вскоре после этого Света вновь встретилась с Казбеком. Она увидела, как он бодро шагает по Советской в направлении парка культуры с каким-то типом. Света шагнула ему навстречу, улыбнулась полуравнодушно:

— А, кого я вижу! Привет!

— Привет, дарагая, нэ знаиць, бильярд открыт?

Казбек вообще-то по-русски хорошо изъяснялся, но он знал, что кавказский акцент веселит русских девушек и пожилых людей. На сей раз он расселил мужчину лет сорока, которого явно намеревался обыграть в бильярд. Света видела, что в парке открыта бильярдная, и ответила, что открыт.

— Хочиць, идём с нами. Большой игра будет.

— Больно надо, — ответила Света и пошла мимо. Не пройдя и пяти шагов, она разрыдалась. Так и шла дальше, рыдая. Если кто мимо проходил, она мигом утирала слёзы и, отвернувшись, делала вид, будто что-то разглядывает там. А потом снова принималась рыдать. На берегу озера гулял со своей овчаркой Вовик-Бобик. Молодая собака не слушалась его, прыгала во все стороны, хотя он строго кричал ей: “Я кому сказал! Вега, я кому сказал!” Глядя на них, можно было подумать, что овчарка едва сдерживается, чтобы не повалить его сильными передними лапами и не перекуснуть его хрупкую шейку. Что скрывать, Света позволяла от скуки Вовику-Бобику крутиться вокруг неё. Но знала, что рано или поздно наступит момент, когда она прикажет: “Катись! И не смей подходить ко мне больше”. Увидев Свету, Вега с лаем устремила к ней.

— Вега! — сказала Света. — Не смей ко мне лизаться!

И собака послушалась, остановилась в полуметре и, радостно гавкая, молала своим глупым хвостом.

Спустя полчаса, ведя на поводке Вегу, Света вошла в бильярдную. Маркёр Василич, которого за крупную бородавку, висающую у него на щеке, звали также Висюlichem, возмутился:

— Ты чего это, эй! Проваливай к шутам! Эй, девка, слышишь или нет?

Казбек играл за средним столом. Увидев Свету, вступился:

— Ты чего шумиць, дядя? Дэвушка посмотриет хочет. Да? Ай, пёс! Щайтан, а не пёс! Ух ти, лапа! Твой, да?

— И не пёс, а Вега, собака то есть, — сказала Света.

Казбек играл умело и лихо. Его соперник едва успевал вколачивать шары, постоянно отставая на два, а то и на три, и то и дело утирал лысину громадным носовым платком, глядя, как, сверкнув золотыми клыками, Казбек бросает на сукно стола ребро ладони левой руки и как с большой амплитудой колебания движется между средним и указательным пальцами кончик кия, прицеливаясь, и — хлоп-шлоп! — шар болтается в лузе.

— Ай-якши! Своячок-передовичок! Феличита, на-на-на-на-на-на... Феличита...

И Света хлопала в ладоши, а Вега лупила хвостом, и ей не сиделось на месте. И потом ещё один раз Света увидела всё это будто наяву, когда, наглотившись таблеток, думала, что умирает, хотя знала, что от этих — не умирают; сквозь предвотную тошноту и муть отчётливо увидела она кий, прицеливающийся и скользящий в руках Казбека, как смычок у скрипача, и тысячу шаров, kloкочущих в трепетных лузах, и перстень с чёрным камнем на мизинце Казбека, и блеск наглого веселья в его глазах; и явственно слышала голос его, сыплющий всякие бильярдные прибаутки: “В левый дальний с причмоком... А вон того шара в милицию вызывают... От борта, от винта, оп-паньки! А говоришь, зимой не пашут... А вон того чужого проверим... Чито-григо, чито-маргарито, да! Мои года — моё богатство...” И с тошнотворным стыдом вспомнилось ей в ту минуту всё остальное: как много выигравший и изрядно покуражившийся Казбек привёз Свету в Додловку, в рабочее общежитие, как кричала вахтёрша, что с собакой нельзя... Как пошли погулять двое соседей Казбека по комнате: “Братишки, пойдите, погуляйте, да? Мне с девочкой серьёзно потолковать надо, да?” И как Вега лезла к ним в постель и тыркалась в них носом, думая, что это такая у людей весёлая игра, а Казбек со смехом говорил Веге: “Ты, красавица, молодая ещё, тебе рано!..” И как Свете потом жутковато было отдавать собаку Вовику-Бобику, будто Вега могла проболтаться о том, что видела, и до смешного противно было, что Вовик всё-таки полез со своим поцелуем: “Мы же договаривались. Меня отец, знаешь, как отчехвостил за Вегу...” — “Ну, ладно, только не очень”, — сказала она, а он как раз *очень*: прилип

своим спонявым ртом, насилиу вырвалась, не смотри, что с виду такой хилак... Но это уже только мельком, а больше всего навязчиво вспоминался почему-то именно кончик кия, плавно двигающийся взад-вперёд, прицеливаясь к шару, и казалось, что тошнит именно от этой галлюцинации. Потом Света закричала, и её стало рвать, прибежала мама, всполошилась, заругалась, понеслась к соседям, чтобы сбежали за врачом...

То, что после свидания в общежитии в присутствии Веги Казбек окончательно бросил Свету и демонстративно предпочел её Зебре и Простыне, было для неё ударом. Но не только. Страдая, она вместе с тем чувствовала, что у неё захватывает дух от какой-то совершенно дурацкой радости — Казбек поступил с ней точно так же, как когда-то поступил с Кирой Джонлендон, а значит, от всей этой несчастной, но красивой истории с рефреном “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” к ней, к Светке, протянулась тонкая ниточка. Ведь и тогда были замешаны те же самые Зебра и Простыня, известные всей округе шлюшки. Оставалось лишь гордо и красиво выстрадать, дострадать до конца. Для этого Света решила окончательно уничтожить себя.

Чудесным августовским вечером она находит на берегу компанию: Казбек, Простыня, какие-то незнакомые девки, кажется, одна с комбикормовой стройки, и трое ребят, из которых только один знакомый — Лёшка Барыгин, почти Светин сосед, на одной улице живёт. Все сидят вокруг костра, пьют вино, целуются. Света подходит и просит Казбека отойти с ней на два слова. Он нагло подмигивает всей компании, но соглашается. Они отходят на несколько шагов от костра, и Света говорит Казбеку, что беременна от него. Казбек уверен в себе, нисколько не теряется. Он жёстко отвечает ей:

— Э, слушай, заколебала ты меня! Какое мне дело? Сильный зверь гуляет по всему лесу, кто попадётся — добыча, а что с ней потом станет, его не волнует. Запомни это. А тебя я и знать не знаю, у нас с тобой ничего не было. Прощай, милая. Припомни кого-нибудь другого, да?

— Подонок! Козёл! — кричит Света и убегает со слезами в темноту леса. Она бежит домой. Она пишет письмо: “...потому что нельзя жить, когда кругом одно сволочье, и на любовь тебе отвечают ложью и бессердечием...” — затем разрывает упаковки — анальгин, аспирин, этазол, сульфадиметоксин, папаверин, — в общем, куча всякой муры, от которой, она знает, нельзя умереть, но запикивает себе пригоршнями в рот, глотает, давится, жует, давится и глотает. Ещё хватает из шкафчика пузырёк с красными чернилами и зачем-то пьёт чернила; знает, что будет рвать — вот напугаются-то! По всем Липам разнесётся: кровью рвало девку!

— А то, что беременная, ты ему нарочно сказала?

— Конечно, нарочно. Ещё чего не хватало. Я бы, наверное, тогда и впрямь руки на себя наложила, если б беременная.

— Да ну, наложила, — усомнился я. — Родила бы себе спокойненько и растила бы своего чебуречика соседям на злорадство. Нет, что ли?

— Ничего ты не понимаешь, — насупилась Света. — Мужики, всё у нас легко. Шляетесь себе. Ни рожать, ни растить. Хотела бы я стать мужиком.

— Это ты брось. Мужиком тебе ни к чему делаться. Ты девка мировая, складная.

Свете понравилось, она уже хмурилась весело. Мы полезли в воду купаться.

— Благодать какая! — отфыркивалась Света. — Завтра бы ещё на работу не идти — совсем кайф.

Мимо с таинственным вопросом: “Купаетесь?” — проплыл Фофан. Я стал придумывать, что ему ответить, если, когда мы вылезем, он пройдёт и спросит: “Загораете?” Над озером, тоже с каким-то вопросом, летала чайка. Я загадал, что, если она коснется крыльями солнца...

После обеда Свете нужно было идти помогать матери в огороде. Я проводил её почти до калитки и пошёл гулять один в лес. Вспоминал, как мы в прошлом году гуляли с женой по лесу в Салтыковке, заплутали и вышли на кладбище, сколько там было на могилах незабудок. Мы нарвали много-много маленьких букетиков, и жена всё как-то запомнила — ставя в стакан

чки, говорила: “Это нам подарил Павел, эти — Анна, эти, самые тёмные, — Григорий Кузьмич, а эти — Европа Николаевна, помнишь её? С таким грустным и светлым взглядом”. А я-то уже и не помнил, какой именно взгляд был у Европы Николаевны на полустёршемся овале, только розовое её надгробие помнил.

Вернувшись из лесу в Липы, я сделал крюк, чтобы пройти мимо Светиного дома. Видел, как она копается в грядках, подставляя солнцу свои крепкие ягодицы, туго обтянутые выцветшей юбкой. Ни с того ни с сего придумалось, что лучше всего было бы ответить Фофану, если бы он ещё спросил: “Загораете?” Я бы ему сказал: “Экий ты, братец, пентюх!” Я усмехнулся и пошёл на свой Чистый Просек.

Вечером я не зашёл за Светой, чтобы пойти с ней в кино, как мы договаривались. Смотрел футбол и пытался себе представить, какова собой Кира Февралёва. Это было нетрудно — обычная шемаханская поселковая царица, с грустинкой, потому что некому оценить её красоту как следует, а в каком-нибудь московском ресторане развязная, потому что думает, что так полагается вести себя в московском ресторане. И уже без грустинки, а с довольной важностью.

В понедельник я весь день провёл в Москве, дома и заночевал. В Липах делать было нечего — весь день лил дождь. Во вторник дождь кончился, стало невыносимо душно от процеживаемой солнцем влаги, и я поспешил к себе за город. Выйдя из электрички, почувствовал уже неприязнь к дрянной лалакинской надписёнке. Понимаю, что грешно, но до смерти раздражаюсь, когда вижу на могильных надгробиях “Помним, любим, скорбим” или “Горе наше неутешно”. А эта “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” — просто подлость.

Злой и притомившийся от духоты — дёрнуло же меня потащить с собой проигрыватель с пластинками, ведь не хотел же его брать в Липы! — я шёл по посёлку и горестно вспоминал вчерашнее досадное поражение наших от бельгийцев. При повороте с Советской на Достоевского на меня набросилась какая-то дворняга, и хотя я делал вид, что никоим образом не замечаю её, она всё порывалась цапнуть меня за ногу; правда, не цапнула, а лишь ударила пару раз клыком по лодыжке. Бродячие псы на людей никогда не нападают; тут же появился и хозяин дворняги, местный фраер, подстриженный под панка, в чёрных очках. В пору моего детства такие очки назывались макнамарами, а такие фраера — стилиягами. Он с удовлетворением отметил нападение своего бобика на чудака с проигрывателем под мышкой и прошёл мимо. Дома, на Чистом Просеке я установил проигрыватель и слушал пластинки — Генделя и Дебюсси. Затосковал и, когда жара немного ослабла, отправился осматривать отдалённые окрестности. Чтобы не сбиться с пути, старался идти всё время прямо. Пересёк лес, миновал шоссе, на обочине которого красовался покрытый свинцово-серой краской олень с отколотым рогом. Снова брёл по лесу, промочил левую ногу в мелком болотце, которое скоро кончилось. Немного постоял на берегу лесного чёрного пруда, довольно мрачного, заваленного гнилыми досками и ржавым металлическим хламом. За лесом пошли холмы. Первый я обогнул стороной, и там, в отдалении, моему взору представилась прекрасная картина — широкий ручей, бегущий меж холмами, разлив одуванчиков на склоне, а сверху, на одном из холмов, бурые развалины какого-то храма, к которому я сразу устремился. Перейдя через ручей по редкому, как решето, мосточку, стал подниматься на холм. Я шёл медленно, и развалины так же медленно плыли сверху мне навстречу. Временами они прятались в облаке листвы какого-нибудь деревца. Тропинка на холм была изогнутая, и развалины всё время находились чуть слева. Всё — холм, тропинка, деревья, ближние травы и кустарники — всё двигалось, лишь развалины храма оставались на одном месте, только увеличивались в размерах и чуть-чуть, едва заметно поворачивались. Наконец, всё это нагромождение камней, бывшее когда-то зданием, выросло передо мною во весь рост. Церковь была не старинная, самое давнее — середины прошлого столетия. От купола оставался

лишь чёрный корсет, из которого торчали пуки растений, крест отсутствовал. Я вошёл внутрь. На полу — битые кирпичи, стёкла, обломки досок, несколько подвяленных кучек экскрементов. Но запах терпимый. Роспись сохранилась лишь в нескольких местах довольно жалкая — явление Христа по картине Иванова, неумелое до пародийности; Оранта, от которой, можно сказать, остались одни глаза, угольно-чёрные, страшные, распахнутые широко и трагично, будто вопия; Елеуса, совсем уже почти не доступная взору, перечёркнутая жирной надписью “BEATLES”, а чуть ниже — “ЦСКА ЧЕМПИОН”. Я невольно стал искать и лалакинскую “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, но тут её не оказалось. Печально было стоять здесь, среди тусклого света, в поруганном храме. Сквозь зияющее отверстие купола влетела галка, села на перекладину и, пронзительно вскрикнув: “Ча!” — захлопала крыльями. Снаружи стали доноситься чьи-то голоса. Я пошёл к выходу, но сквозь пролом увидел лаз на колокольню, протиснулся туда и очутился в высоком колодце из кирпича. В стенах были проделаны отверстия, по которым нетрудно оказалось взобраться наверх. Сердце во мне колотилось, когда я ступил на верхнюю площадку колокольни и осмотрелся по сторонам. Вокруг были далеко видны окрестности. Первым делом я постарался различить там, за лесом и полоской шоссе, мои Липы, затем пошёл влево от них и увидел вдалеке большое водохранилище, по-видимому, Доиловское, на берегу которого маячило нелепое индустриальное строение, должно быть, комбикормовый завод. Затем шли поля, летел самолёт, — казалось, на такой же высоте, на какой стоял я. Далее — холмы, на одном из которых, покрытом тёмно-зелёным лесным ковром, был странный выстриг в виде исполинской буквы Е. Небольшой посёлок подпрыгнул ко мне поближе, чтобы я смог определить, что он — дачный. Дальше снова шли холмы, мельтешила речонка, то там, то сям желтели пятна разлитых одуванчиков.

Идя справа налево и медленно сменяя одну картинку другой, я вдруг укололся взглядом о яркую солнечную точку совсем вдалеке. Стал пытаться разглядеть, что там такое, и вскоре понял, что там, где-то далеко, на другом таком же холме тоже стоит церковь, но только не разрушенная, а живая. Но зрение у меня не особенно острое, и вскоре я перестал различать на голубом фоне неба тонкий пробел здания далёкой церкви. Лишь отведя глаза в сторону и стремительно возвращая взгляд на то место, я мог на секунду-другую вновь увидеть золотую вспышку купола. Я подумал, а не мерещится ли мне это? Может быть, это там бродит призрак церкви, на колокольне которой я стою? А бывают ли вообще у церквей призраки?

Спускаясь, я промахнулся ногой в выщербленное отверстие и где-то с середины колокольного колодца ухнул вниз. Грохнулся навзничь, ударился затылком и на миг потерял сознание. Тотчас очнулся, была сильная боль в пояснице и в локте. Попытался встать, встал, — значит, с позвоночником всё в порядке. Ссадина на локте была порядочная — вспомнил, что при падении изрядно чиркнул локтем по шершавой кирпичной стене.

В Липы я вернулся, уже чувствуя себя совсем разбитым — болела поясница, невозможно было согнуть локоть — он опух и постоянно кровоточил. Голова гудела. Любовь Никитична заботливо промыла мою ссадину, залила её йодом и забинтовала. Охала:

— Ой, кто же это вас так, господи! Неужто наши барбосы-хулиганьё? Вы их остерегайтесь. Будут просить закурить — дайте, а то они такая шпана-шантрапа. Только дай повод, чтоб зацепиться. У них тут даже своя организация есть. Липари называются.

— Да нет, Любовь Никитична, не волнуйтесь, это я сам споткнулся и упал. А что за липари такие?

— Да шут их знает! Поговаривают, будто есть какой-то штаб — не штаб. А липари — что-то не слыхала, чтоб нас, липовских, так называли. Я вот — липовская, а если мужик — липовский. А липари... Шут его, может, теперь молодёжь себя так называет.

К ночи мне стало невмоготу. Во всей спине и пояснице сидела такая тяжесть, такая боль, что я всерьёз стал побаиваться, не повредил ли позвоночник или таз. К тому же ещё и локоть не переставал опухать. Я промаялся

всю ночь. Не помню как, мысль моя добрела до лалакинской надписи. Кажется, у меня поднялась температура, я чувствовал, что тело моё стало тяжелее вдвое, что я не могу уже поднять ни руку, ни ногу. Примерещилось мне, будто в комнате кто-то бродит неслышными шагами. Хочу встать и не могу. Бред какой-то, жуть! Открою глаза и вижу решётку. Нет, это не решётка — это чёрный корсет развалившейся церковной луковицы, а сквозь него мелькает что-то — то ли мелкая берёзовая листва, то ли чьи-то светлые кудри... Явственно, кожей чувствую: ходит кто-то по комнате. И вдруг развалины храма стремительно поплыли в сторону, всё исчезло, и я увидел посреди комнаты тонкий силуэт женщины с пышной кипой волнистых золотых волос, с поднятыми, как у оранты, руками. Медленно двигаясь, плывя ко мне, она смотрела на меня широко распахнутыми небесными очами. Она приблизилась и промолвила что-то едва слышно. И вдруг превратилась в столп воды, хлынула на меня; тёплые потоки залили всё моё тело. Не ведаю, сколько времени река эта текла по мне, как по руслу. Внезапно всё схлынуло, и я проснулся.

Светило солнце, комната была наполнена ароматами летнего утра. Я ощутил на лбу испарину. Я лежал на спине, одеяло валялось на полу, по всему телу разливалась свежесть. Я встал и обнаружил, что у меня ничего не болит, на локте никакой опухоли. Согнувшись и разогнувшись несколько раз, я убедился, что позвоночник и поясница такие же гибкие, как и раньше. Размотал на локте повязку — нет, ссадина есть, и большая, но не болит. Почти не болит. Отчётливо помнился силуэт увиденной во сне женщины и даже некоторые расплывчатые очертания её лица.

Был жаркий солнечный день. До самого вечера я купался в Тихорецком озере и, загорая на берегу, читал привезённый из Москвы пятый том Бунина из девяти томника — “Митина любовь”, “Солнечный удар”, “Ида”, “Мордовский сарафан”, “Дело корнета Елагина”, “Ночь”, “Обуза”, “Воды многие”, “Поруганный Спас”...

— Привет!

— Све-ета! Привет! Какое платье нарядное! Куда собралась?

— Никуда. Просто прогуляться. Где пропал? Что читаешь?

— Ездил в Москву. Дела.

— Бунин. Хороший писатель? Я ничего не читала. Ты ещё больше загорел.

— Возьмёшь меня с собой просто прогуляться?

— Пойдём, мне-то что.

Пока я одевался, она листала страницы книги. Потом, видимо, загадав что-то, открыла резко наугад.

— Ну-ка, интересно, что там? Прочти, — попросил я.

Она прочла:

— “Он ещё помнил её всю, со всеми её малейшими особенностями, помнил запах её загара, холстинкового платья, её крепкое тело, живой, прочтой и весёлый звук её голоса...”

— Это из “Солнечного удара”?

Она листнула назад страницу:

— Точно. Ты что, всё так помнишь? Во даёт! Дашь почитать?

— Возьми. Интересно, о чём ты загадала?

— Не скажу. Секрет.

— Ну, хоть подошло?

— Кажется, да.

— Пойдём по этой тропинке. Ты любишь гадать по книгам?

— Люблю, у меня почти всегда сбывается.

— Если хочешь, я расскажу тебе одну легенду. Небольшую. Коротенькую. Пока не кончится эта лесная тропа.

— Расскажи.

— Слушай. Жил на белом свете, а точнее, в одном большом хорошем городе, человек. Была у него семья — жена, ребёнок, — хорошая квартира, любимое место работы. Занятием ему служила философия истории — пред-

мет, на первый взгляд, довольно бесполезный, но для того, кто занимается им всерьёз, вкладывает в него свою душу, он может сделаться опасным. И вот, когда этому философу стукнуло под сорок, наступила в его жизни страшная полоса. Писал он крупное исследование, можно сказать, труд всей своей жизни, и вдруг столкнулся с такими историческими парадоксами, которые умом он мог объяснить, а вот сердцем принять не сумел. Полный тупик. Встанет на одну точку зрения — логически сходится, а по-человечески не приемлет; встанет на противоположную — чувствует, что прав, а разом протестует. И пошло-поехало мученье. Книга застопорилась. Пока не решишь проблему, дальше идти нельзя. А проблема неразрешима без какого-то третьего, иного видения. Понеслось у философа всё в жизни наперекосяк. Читает лекцию, делает какое-то выступление — и сам диву даётся, что такое говорит. Коллеги стали шушукаться между собою о нём, а кое-кто и сведения собирать, чтобы в других инстанциях сделали кое-какие выводы. К тому же, каким-то образом узнаёт философ, что жена ему неверна, и доказательства её неверности у него неопровержимые. В то же время с ним она по-прежнему ласкова, заботлива... Но нет в доме того уюта, что был прежде. И вот однажды вечером, а точнее, уже очень поздним вечером, около полуночи, сидит философ в своём кабинете и думает, что ему делать. Плпнуть на всё и дописать книгу так, как если бы он не докопался до парадоксов? И всё тогда пойдёт своим чередом... Но он не может. Часов до двух ночи сидел он и размышлял, до тех пор, пока с ужасом не понял, что начинает сходить с ума. Слышатся ему голоса какие-то, кто-то зовёт, кто-то плачет, кто-то песни поёт. Мерещится ему, что по комнате мелькает что-то. А главное — в голове и в груди такая невыносимая тяжесть, что вот-вот оборвётся. Встал он, ходит по комнате и у стен спрашивает: что мне делать? Что мне делать! И вот уже в глазах темно становится. Тут он схватил, сам не зная зачем, самую толстую книгу из тех, что стояли у него на полке, раскрыл её наугад и прочитал первую попавшуюся фразу: “Встань и выйди в поле, и там я буду говорить с тобой”. И как только он это прочитал, чувствует, стало легче. Будто внутри какой-то луч засветился. И он уже знает, что будет делать дальше. Собрал свои последние рукописи, сжёг их и тайком сбежал из дома. А с собою взял только денег на первое время, документы и самые необходимые вещи. Сел в поезд и пересёк всю страну по диагонали, с северо-запада на юго-восток. Оказался в глухих довольно-таки местах, обучился ремеслу, которого прежде не знал, и превратился философ в охотника-лесника. Жене он написал, чтоб она от него отреклась и о нём забыла. Но деньги на сына, сколько мог, высылал. Сделался он совсем другим человеком, жил в ветхой избушке, охотился, окреп физически, целыми днями ходил под небом, не боялся ни дождя, ни слякоти, привык к одиночеству, в котором всё больше находил наслаждения.

Прожил он такой жизнью пять или шесть лет и думал, что до самой смерти будет жить так. И был так счастлив, как разве что только в детстве. Но вдруг всё кончилось. Как-то раз забрёл охотник в одно село и встретил там женщину, которую полюбил. Как на грех, и она его полюбила. Вернулся он в свою избушку и хотел поскорее забыть ту женщину. Но шли дни, а он всё больше тосковал по ней. И настал такой день, когда ему стало совсем невозможно переносить тоску. Лежит он ночью в своей одинокой хижине и чувствует, что вновь, как несколько лет назад, сходит с ума. И страшно ему расставаться со своим одиночеством, и без той, которую полюбил, он никак уже не может. Вот-вот в груди его и в мозгу лопнет что-то. Да, забыл сказать: уходя из дому, взял он тогда с собою ту книгу, по которой гадал. И все эти годы он одну лишь её читал. Так вот, в самый страшный момент, в какие люди обычно и сходят с ума, схватил он эту книгу, раскрыл на первой попавшейся странице и прочитал: “Возьми себе камень и положи его перед собой”. И вновь, как и тогда, пришло к нему моментальное облегчение. И фраза из книги не показала ему странно: несколько не сомневаясь, он решил, что камень — это дом, семья. Отправился в то село и взял в жёны ту, которую полюбил. Построил дом, занялся хозяйством, жена родила ему двоих детей. Так прошло ещё десять лет.

С тех пор как философ уехал из своего города и поселился в далёкой глуши, превратившись в охотника, он был счастлив. Он даже начал огорчаться, что так счастлив, потому что не бывает в жизни так, чтобы великое счастье не оканчивалось бедой и горестями. И вот предчувствия его сбылись. Заболел младший ребенок, любимчик, сын. Заболел болезнью, которую мало кто из врачей умеет лечить. Какие бы печали и униженья ни выпадали на долю философа, теперь уже охотника, это горе оказалось для него самым страшным ударом. Ночью у постели умирающего мальчика сидит он и в третий раз в своей жизни понимает, что сходит с ума. И это безумие в сто раз ужаснее, чем те, которые угрожали ему в предыдущие два раза. Чудится ему, будто он не он, а сама страшная болезнь, умерщвляющая мальчика, будто всё его существо — ядовитое облако, засасывающее в себя несчастного ребёнка. В ужасе, не понимая, что делает, он ринулся опять к той же книге, распахнул её наугад и прочел: “Встань и пойдй к переселённым сынам народа твоего”. И будто ярким лучом света озарилась вся страница, тут же промелькнули перед ним и две другие фразы, спасшие его десять и пятнадцать лет назад. Он захлопнул книгу, выскочил из дому и поехал к ссыльным. Тогда шёл последний год суровой диктатуры, и в глухом селе, где жил охотник, располагалась небольшая колония ссыльных. Придя к ним, он спросил, нет ли среди них доктора, умеющего лечить ту болезнь, подкосившую его сына. И чудо: оказалось, что есть как раз среди ссыльных врач, научившийся вылечивать этот смертельный недуг. Именно это ему и навредило в своё время: завистники написали на него донос, и бедного врача без суда и следствия отправили в лагерь, а поскольку он там не превратился в качественное удобрение, после десяти лет в лагере жил теперь в колонии ссыльных. Разыскали того врача, приехал он к сыну охотника и за две недели поставил его на ноги.

Радости охотника не было предела. Вскоре после воскрешения сына подумал он как-то раз: “Что за чудесная книга! Трижды я прибегал к ней за советом, и трижды она выручала меня. Интересно, что, если мне просто так погадать на ней — узнать, к чему готовиться в ближайшем будущем, и, может быть, как предостеречься от какой-нибудь надвигающейся новой беды”.

И вот ночью, когда все в доме спали, зажёл он свечу — именно свечу зачем-то! Ему казалось: если гадать просто так, то уж хотя бы при свече. Положил перед собой книгу, потом поставил её на корешок и раскрыл. Ткнул пальцем куда попало и прочитал: “Съешь то, что перед тобой, съешь этот свиток и иди”.

“Что за бред!” — подумал охотник и вдруг с удивлением обнаружил, что здесь же рядом в тексте кроются и три прежние фразы. То есть трижды в страшные минуты, когда подступало безумие, он открывал книгу на одной и той же странице; и сейчас, когда ему вздумалось погадать просто так, та же самая страница раскрылась ему. Приглядевшись внимательнее, он нашёл на странице небольшой дефект — уплотнение бумаги, благодаря которому, если открыть книгу наугад, она всегда распахивается в одном и том же месте. И он засмеялся. Ему показалось нелепым, что фраза “встань и выйди в поле” почему-то подвигла его сбежать из родного города и поселиться в глуши, что фраза “возьми себе камень и положи его перед собой” разрешила его сомнения относительно того, жениться ему или нет. К тому же теперь он отчетливо видел, что в книге значится не “камень”, а “кирпич” — “возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нём город Иерусалим”. При чём здесь Иерусалим! Этот Иерусалим рассмешил его ещё больше. Он вдруг понял, что совершенно напрасно бросил семью, родной город, любимое дело — философию истории. Он почувствовал жгучую тоску по своей первой жене, первому сыну, захотелось увидеть их хотя бы одним глазком, хотя бы раз пройтись по улицам большого хорошего города, в котором он родился и вырос. Он захлопнул книгу, запахнул её под кровать и, оставив записку, что вернётся через две недели, тайком ушёл из дома. Через восемь дней он добрался до большого хорошего города, вновь проехав через всю страну по диагонали, только теперь уже с юго-востока на северо-запад. В дороге он узнал о смерти диктатора. В поезде рядом с ним многие

плакали, многие паниковали: что же теперь будет?!.. А некоторые подходили к окнам и с радостными слезами надежды в глазах смотрели, как мимо бегут прекрасные, любимые просторы родной земли.

В городе висели траурные флаги; он долго бродил по улицам и несколько раз, когда никто не видел, целовал стены домов. Целые сутки понадобилось ему на то, чтобы решиться прийти в тот дом, откуда он сбежал пятнадцать лет назад. Наконец, осмелился, но выяснилось, что его бывшая жена и сын уже давно здесь не живут. Новые жильцы подробно рассказали ему, что жена его вышла замуж за другого и переехала с сыном в другой конец города семь лет назад. Раз в месяц она приходит за квитанцией на получение денег, которые ей присылает её бывший муж. А когда была война? А когда была война, они с сыном жили в эвакуации. К охотнику, а он уже не был охотником, потому что вновь превратился в философа, пришло отчаяние. Он увидел судьбу свою исковерканной. Вторая жена, сын и дочь, которых она ему родила, казались ему чем-то нереальным, не ему принадлежащими. В то же время он не мог не думать о них. И снова в душе его наступил такой кризис, что он ощутил тяжелейший приступ сумасшествия. Он шёл по улице, стены домов казались ему книжными полками, он хватал их в поисках книги и не мог найти того, что ему нужно... Дальнейшая судьба этого человека неизвестна.

— Как неизвестна? — ошарашенно спросила Света.

— А вот так — куда делся, сошёл ли с ума, бросился ли в реку, уехал ли искать иных мест? Бог ведает.

— Ужас какой. Какие ты вещи рассказываешь!

— Не понравилось?

— Ты что, ужасно понравилось. Я, знаешь, как люблю такие потрясающие сюжеты! Я прямо вся обомлела.

— А всё это просто о вреде гаданий.

К концу моего рассказа мы вышли из лесу и теперь стояли перед калиткой заброшенного дома. В лучах заката он казался каким-то особенным, я внимательно разглядывал его и не мог понять, что именно так привлекает меня. Света стояла передо мною, смотрела на меня в упор шальным, загадочным взглядом и что-то говорила. Я не слышал её слов, рассматривал стены, заколоченные окна, крышу, крытую шифером, — всё это было залито золотом заката, чуть оранжевым, слегка горьковатым, щемящим. Я вспоминал осень, заколоченные дачи, двоих влюблённых, одним из которых был я, вороха павших листьев, долгие томительные поцелуи, запахи осеннего тоскливого заката, одиночество двоих людей, так не навечно предоставленных друг другу...

— ...а сегодня почему-то целый день думала о тебе, и ужасно захотелось с тобой встретиться. А когда нашла тебя на берегу, так обрадовалась. Взяла твою книгу и загадала: интересно, думал ли ты обо мне?.. Ты не слушаешь меня?.. Серёжа!

— Что?

— Ты не слышишь меня?

— Почему ты решила? Слышу: ты взяла книгу и загадала, думал ли я о тебе. Там было написано: “Он ещё помнил всю её, её холстинковое платье, запах её загорелого, крепкого тела...” Что-то в этом роде. И ты решила, что это обо мне?

— Не знаю... Куда ты смотришь? А, ты узнал у кого-то, кто жил в этом доме?

— Нет. А кто?

— Кира Февралёва. Та самая.

Я вздрогнул от неожиданности.

— Правда?

— Ну, с какой стати мне врать?

— А что же никто не вымазал ей дёгтем калитку? Забывают нынче славные традиции прошлого! Или дёгтя не нашлось? Так брызгалкой бы написали какую-нибудь похабщину.

— Мы что, так и будем здесь стоять или пойдём всё-таки дальше? — В голосе Светы послышалась обида и злость.

— Пойдём. Почему ты сердиться?

— С чего ты взял, что я сержусь?

— Не знаю, показалось.

— Вот ещё, с чего мне на тебя сердиться.

Молча мы прошли по Тихорецкой улице, на которой, оказывается, жила та самая Кира Февралёва. Вот где она жила-то, оказывается.

Когда мы вышли к железной дороге, Света спросила, кто рассказал мне про философа-охотника.

— Не помню. Прочитал где-то.

— Глупая история. Такого, по-моему, в жизни не бывает.

— Отчего же? Нет, бывает. Если писатель что-то пишет, значит, это наверняка есть в жизни. Даже если он ерунду сочинит. Абсурд какой-нибудь сочинит — и то не просто так, а из жизни. Был такой философ — Декарт. Он сказал, что человек ничего не может сам придумать. Возьмётся изобретать какое-нибудь чудовище, и всё равно не изобретёт ничего такого, чего в жизни не бывает, потому что у чудовища будет тело змеи, голова быка, когти льва. Но ведь змеи, львы и быки существуют в природе. Любая самая что ни на есть галиматья, которую сочинят люди, берётся из жизни.

— Какой ты мудрёный, непростой. Даже противно. Тоска берёт. Тебя, наверное, потому и жена бросила. Скажешь, нет?

— Скажу — да. В самую точку попала.

— Пойду-ка я домой, кино какое-нибудь по телику посмотрю.

— Ну, что ж, пойдём, я тебя провожу.

— Не стоит утруждаться. Вообще не нужно больше ко мне подходить, а то меня потом никто замуж не возьмёт — станут говорить, что я, как та Кира, москвичам на шею вешаюсь.

— И повторится всё, как встарь: Фофан под колёсами скорого, рядом с “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” появится надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, СВЕГУЛЬЧИК”. Бунина-то возьмёшь почитать?

— Да ну его к лешему! Небось, такой же зануда, как ты. “Помнил её всю...” Не бывает такого, чтобы мужик долго помнил. Это я раньше про любовь любила читать, верила. А теперь я люблю зарубежный детектив. Только у нас в библиотеке они нарасхват. У тебя нет, случайно? Или Стругацких?

— Чего нет, того нет.

— Ну, и отчаливай тогда. Аривидерчи, рагацци!

— Постой! Хочу тебя спросить.

— Ну?

— Где тут у вас кладбище?

— На могилки захотел поглядеть? У нас в Липах нет своего кладбища. Большое кладбище в Покровке. Мы там своих хороним.

— Лалакин там лежит?

— Там. А что?

— Ничего. Всё, пока. Иди, смотри телик.

Я пошёл на станцию, купил билет до Покровки — следующей от Лип станции в сторону Москвы. Когда подошла электричка, на платформе появилась Света. Едва успела выпрыгнуть со мной в один вагон. В дороге она, сидя рядом, фыркнула:

— И чего я с тобой попёрлась, сама не знаю.

Сразу после этого появились контролёры, и, поскольку Света не успела купить себе билет, мне пришлось заплатить за неё штраф.

— Да и впрямь, чего ты попёрлась, — сказал я, и мы рассмеялись.

Долгий июньский закат пружинил в окнах электрички, а когда мы вышли в Покровке, он вступил в свою заключительную стадию, и всё вокруг было залито оранжево-красным соком истекающего солнца. С платформы мы ринулись к отходящему автобусу — село Покровка лежит в нескольких километрах от своей метки на железнодорожной линии. За окном автобуса промелькнуло перечёркнутое наименование пристанционного посёлка “Дорожник”, раскинула свои объятья гигантская фанерная звезда, промелькнул какой-то НИИМОЖ, наконец, началось село Покровское, в котором мы вышли, когда солнце уже скрылось за горизонтом.

— Ну, и времечко ты выбрал для кладбища, — сказала Света. — Скоро уже темнеть начнёт.

— Боишься — не ходи.

— Ты один не найдёшь.

Покровский храм стоял на высоком холме. Я узнал его — моё вчерашнее отдалённое видение. Белый, статный, златоглавый. Видно, что недавно отреставрированный. А кладбище располагалось под холмом, в большой роще, которая полностью скрывала его в своей тени. Меня поразила аккуратность, ухоженность могил, прямизна аллея между ними. Много было красивых надгробий из чёрного, красного и зеленоватого крапчатого мрамора. Среди множества обязательных Лыковых, Куликовых, Лебедевых, Семёновых, Ласковых Матюшиных, Улыбышевых, Козляткиных, строгих Громовых, Щаповых, Головиных и Шаровых нелепо и в то же время с достоинством выделялся Йорген Францевич Фосс. Довольно взросло выглядел Николай Андреевич Вековой, во взгляде его чувствовалось глубокое знание жизни, хотя под именем его значилось: 1977—1979. А неподалёку двадцатитрёхлетний юноша довольно легкомысленно был обозначен как Слава Целевиков. На могиле Клавдии Фоминичны Одноворовой, умершей в 1913 году, привлек внимание искусно вырезанный из бледного мрамора скорбный ангел, склонившийся над вазой с ещё более мастерски исполненными из того же мрамора лилиями.

В центре кладбища располагался основательный колодец-сруб, такой глубокий, что не видно было, где там вода. Я пустил в него ведро, и пустынное кладбище огласилось скрипом уключин и лязгом цепи. Вытанув полное ведро наружу, я испил чистойшей, удивительно вкусной воды.

— Не понимаю, как ты можешь пить эту воду, — сказала Света.

— Почему?

— Ведь она по мертвецам бегаёт.

— Она бегаёт гораздо глубже захоронений. Никогда не пил более чистой воды.

— Ну, ладно, пей быстрее. Так, мои лежат справа, а Лалакин с отцом — слева. Пошли, здесь уже недалеко.

И вот мы пришли на могилу Лалакиных. Отец — Пётр Васильевич Лалакин — лицо ничем не примечательное, к тому же и фотография довольно тусклая.

— Отчего умер отец? — спросил я Свету.

— Поддавал. Грех о покойниках плохо говорить, но алкаш был страшный. По пьяной лавочке попал в аварию. Он шофёром был, как Серёжка. Да, не жильцы Лалакины на этом свете.

Сын — Сергей Петрович Лалакин — рубашка в клетку, чуть виноватая улыбка, а глаза печальные. В общем-то, довольно симпатичное лицо.

— Бедняга, — произнёс я, — как же тебя угораздило?

— Перестань, — одёрнула меня Света. — Твой цинизм здесь неуместен.

— Я не сказал ничего циничного. Смотри-ка, а ведь он прожил ровно вдвое меньше своего отца.

— Да, действительно. Может, пойдём, а то уже становится темно. Мне страшно. Пойдём туда — там где-то недалеко второй выход с кладбища.

Мы пошли искать второй выход, но не нашли его и заблудились в кладбищенских сумерках. Света всерьёз забоялась, взяла меня под руку и шла, тесно прижавшись ко мне. Вдруг вскрикнула:

— Ой! Что это?

На одной из могил, видимо детской, лежала пластмассовая голенькая кукла.

— Фу, ты, а я думала — ребёночек.

Света вся дрожала от испуга. Над нами громко захлопала крыльями птица, и Света опять вздрогнула всем телом. Становилось всё темнее, и мы побрели искать ту дорожку, по которой пришли.

— Где же Лалакины? Ой, нечистая нас водит! Чёрт тебя дёрнул пританцоваться сюда в такую позднотень, — хныкала Света.

Мы уже пробирались совсем наугад, расстояния между могильными оградками в некоторых местах были такие узкие, что приходилось пролезать

боком. Ещё несколько раз Света вскрикивала — то обожглась крапивой, то летучий жук прогудел прямо перед её лицом, то просто померещилось что-то. Однажды и я напугался.

— Ой, всё, я сейчас умру, вон смотри — стоит кто-то, — пробормотала Света слабым, прерывающимся голосом.

Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и впрямь увидел в темноте большую человеческую фигуру. Сделал несколько шагов по направлению к ней.

— Ай, не ходи туда, я тебя умоляю! — зашептала Света.

Я остановился. В этот миг фигура исчезла.

— Там никого нет, тебе опять померещилось, присмотришься внимательно, — сказал я ровным голосом, хотя мне самому уже сделалось не по себе. Ведь и я видел тёмную фигуру, так таинственно исчезнувшую прямо на моих глазах. В душе моей засвербило, я в волнении стал оглядываться по сторонам и вдруг — слава тебе, Господи! — увидел в отдалении силуэт ангела над вазой с лилиями. Даже вспомнил имя женщины, покоящейся под тем ангелом.

— Света, иди сюда, я нашёл дорогу. Вон видишь ангела? Там лежит Клавдия Фоминична Однодворова. Она нас выведет отсюда.

— Не пойду, я боюсь! — протонала Света, стоя как вкопанная.

— Отказ принят. Я пошёл один. Там, где ты стоишь, есть на чём прилечь переночевать?

Она ринулась ко мне, вцепилась острыми ногтями в моё предплечье. Мы благополучно миновали мраморного ангела Клавдии Фоминичны, вышли на широкую аллею и вскоре выбрались из поселения мёртвых. Света повеселела, но не торопилась отрываться от моего локтя, шла, всё так же плотно прижавшись ко мне.

— Хорошо, что у нас в Липах нет кладбища. До смерти боюсь этих покойников! Просто сил нет. Как ты думаешь, привидения есть?

— Я не думаю, я знаю. Есть. На этот факт уже и наука перестала глаза закрывать. Я сам занимаюсь изучением привидений.

— Как это?

— Так, по работе с ними связан. Пишу о них диссертацию.

— Ну, это ты, конечно, врешь, и к тому же неостроумно. А если серьёзно, кем ты работаешь?

— Зачем тебе знать?

— Ну, всё-таки, мы уже знакомы с тобой пять дней, один раз даже целовались, я тебе всё про себя рассказала, а ты мне только лапшу на уши вешаешь.

— Я не шучу, мне в процессе моей работы приходится иметь дело с привидениями.

— Так кто же ты, таинственный незнакомец?

— Я — комплексолог. Есть такая профессия.

— Бр-р-р! Это ещё что такое? Строишь комплексы?

— Не строю, а изучаю. Их такое разнообразие, что не так-то просто разобраться. Комплекс неполноценности, комплекс вины, власти, нехватки заработка. Есть комплекс неудовлетворённой любви... О, автобус... Есть комплекс измен жене, которую обожаешь до потери пульса. Есть комплекс страдания за народ. Короче, их столько, что не хватит жизни, чтобы их все перечислить, а уж тем более, чтобы во всех них разобраться учёному-комплексологу.

Мы ехали в автобусе, и мимо в ночной темноте в обратном порядке проносились синий указатель “Покровское”, какой-то, так и оставшийся неразгаданным, НИИМОЖ, от души распахнутая великанша-звезда, наконец — “Дорожник”. Пока всё это мелькало за окном автобуса, я ещё немного поспешил Свету в некоторые нюансы профессии комплексолога, но она всё равно не поверила, что таковая существует.

— А зря, — сказал я. — Могу даже удостоверение показать. Только оно у меня в Москве.

— Так поехали к тебе в Москву, — осмелела после спасения от кладбищенских призраков Света.

— Поздновато, тебе завтра рано вставать на работу, — невежливо от-казал я.

В электричке Света обиженно молчала. Мне надоело молоть вздор, и я тоже молчал, благо от Покровки до Лип всего одна остановка. В Липах я проводил Свету до калитки, она ждала, что я всё-таки её поцелую, но я лишь пожал ей локоть и отправился к себе на Чистый Просек.

Я шёл по ночному посёлку, жёлтые брызги фонарей шевелились в перебираемой ветром листве деревьев, глухо лаяли псы, ещё глуше где-то далеко гудел поезд. Я испытывал неприятное ощущение, будто кто-то неотступно следует за мной по пятам, и через каждые двадцать-тридцать шагов оборачивался, затем шёл дальше, чутко прислушиваясь к каждому шороху за спиной. Придя, наконец, домой, я сразу разделся и лёг спать, но уснуть никак не удавалось — то и дело мерещилось, что под боком ползает мурашка, или назойливый комар всё вилял и вилял своим тонким дыханием над моим лицом, из микроскопического насекомого превращаясь в крупного мохнатого нетопыря. Едва я уснул, в мозгу моём вдруг что-то щёлкнуло, в глазах вспыхнуло яркое голубое сияние и тотчас погасло. Я вскопчил с постели и услышал за окном чёткий стук удаляющихся каблучков. Подбежав к окну и выглянув наружу, я успел увидеть чью-то тёмную фигуру, тотчас скрывающуюся за углом дома. Стук каблучков по узкой асфальтовой дорожке, окаймляющей фундамент, ещё слышался несколько секунд, затем умолк. В непонятном волнении я быстро оделся, выбежал из дому, выскочил за калитку и увидел, как тёмная фигура шагнула из освещённого фонарём пятна в темноту.

Быстрым шагом я пошёл туда, вдоль по Чистому Просеку. На перекрёстке огляделся по сторонам — пусто. Почти бегом пробежал по Лесной улице и уже в самом конце её, в открывшемся просвете, увидел тёмный силуэт, шагающий через рельсы железной дороги. Я быстро дошёл до конца Лесной, поднялся по насыпи, но тут мне пришлось задержаться, чтобы пропустить скорый поезд. Едва последний вагон промелькнул мимо, я рванулся вперёд, но, естественно, мой призрак уже был далеко. Я прошёл вдоль окраины посёлка, затем по лесной тропе спустился к озеру. Поверхность воды была белая от лунного света, дул ветер, было пустынно и немного жутко. Я наклонился к воде, опустил руки в холодную влагу и постарался успокоиться. И тут я снова услышал шаги, резко оглянулся вправо и успел увидеть, как та самая фигура, за которой я гнался, удалилась в глубь леса. В первый миг я даже не мог встать — ноги и руки были ватные, как во сне. Наконец, я собрался с силами, встал и пошёл вслед за призраком. Это была та самая тропа, по которой мы шли сегодня со Светой и где я рассказывал ей историю про философа-охотника, сочинённую лет десять назад моим отцом, писателем-неудачником. Я пересёк лес и снова очутился в Липах, на Тихорецкой улице, прямо перед домом Киры Февралёвой. Никого вокруг не было. Постояв немного без движения, чтобы услышать малейший шорох, я так ничего и не дождался. Тогда я перелез через забор, продрался сквозь кусты смородины и подошёл к дому Киры вплотную. На миг мне почудилось, что там, в доме, горит тусклый свет, но, обойдя медленно вокруг и заглянув, сколь было можно, в заколоченные окна, я понял, что ошибся. Тогда я отошёл в тень и сел на узенькую скамеечку рядом с небольшой плантацией запущенного, одичавшего шиповника, почти без цветов.

Здесь она жила. Этот шиповник когда-то бурно цвёл, наполняя её жизнь ароматами. Теперь пахло лишь липовым цветом, да луна озаряла это нежилое место. Я смотрел на дом Киры и чувствовал, как нервы мои постепенно успокаиваются, мышцы расслабляются, сердце бьётся всё ровнее. Ресницы стали клейкими, я поднялся на ноги, сладко потянулся, затем перелез через забор на улицу и через двадцать минут уже был у себя, на Чистом Просеке. Лёг в кровать и сразу уснул.

Весь следующий день был наполнен какой-то тихой и светлой радостью. Я, наконец, занялся своими делами, сделал две страницы примечаний к порученной мне книге, написал большое письмо отцу и матери, слушал Гайд-на и “Тёмную сторону луны”, поболтал о том о сём с Любовью Никитичной, а вечером смотрел первосортный футбол.

В пятницу день был хуже. Ничего не хотелось делать, навалилось одиночество, тоска по недавней счастливой жизни, которой, казалось, не будет конца... В полдень я загорал на озере и чувствовал, какое всё это уже лишнее. Весь смысл фильма давно уже исчерпан, но режиссёр зачем-то продолжает держать нас в зале и заставляет смотреть, как светит солнце, летают птицы, сверкает блесна какого-то неудачливого рыбака. Зная, что сегодня произойдёт нечто неприятное, я покорно отправился вечером на танцплощадку — повидать Свету и получить то, что мне на сегодня отпущено.

Света была уже там. Гроыхала рок-группа “Лепрозорий”, бессмысленно мельтешили танцующие. Я вклинился в толпу, довольно грубо схватил Свету за локоть и сказал:

— Привет. Давно здесь прыгаешь?

— Привет, москвич. Ты что, с кладбища? У тебя вид, как из могилы. Фух, жарко!

Заиграли медленный, и я притянул Свету танцевать со мной.

— Что новенького сочинил Стас Рублёв? — спросила она.

— Да ну его к лешему, — сказал я. — Ударился в мистику, поползли какие-то глупости — погоня за ночными призраками, которые непонятно куда потом исчезают. Возомнил себя гением. Говорит, что придумал новое направление — как можно дольше закручивать сюжет с множеством тайн, которые интригуют, но так и не раскрываются. Говорит, что главная загадка жизни так никогда и не разгадывается, потому люди и живут до сих пор. Надеются разгадать.

— А ты?

— Что — я?

— Разгадал?

— С какой стати? Что за глупый вопрос? Ты почему отстраняешься?

— Жарко. Я вспотела. Не хочу больше танцевать. Пойдём погуляем? Что с тобой сегодня? Мрачный, как не знаю что.

Мы пошли к выходу. Тут к нам подбежала Светина подружка — та, с прошлой субботы.

— Светка! Там сюда Фофан кочумает. Пьяный вдрызг, уже подрался с кем-то. Шли бы вы отсюда.

Но было поздно. Едва мы вышли из ворот парка культуры, перед нами выросла подвыпившая компания, возглавляемая Фофаном.

— Светик! — заорал он. — Пошли танц-ать. Это ктой-то с тобой? Ну-ка, сделай так, чтоб тебя не было! — дыхнул он мне в лицо.

Света встала между нами.

— Фофан, не бузи! Пойдём, я с тобой потанцую.

— П-жи, Светик, ща мы разберёмся, — он отстранил её и надвинулся на меня: — Тебе сколько лет, командир?

— Дать тебе парочку займы? — спросил я в ответ.

Он не понял, обернулся к приятелям:

— Он, кажется, мне угрожает?

Приятели восприняли его вопрос как сигнал к действию. Двое из них встали за моей спиной, остальные — по бокам.

— Ты чо такой нервный? — спросил меня один из них, хотя я довольно спокойно приготовился к избиению.

— Мужики, да вы чо! — закричала тут Света. — Что он вам сделал? Вы знаете, зачем он из Москвы-то приехал?

— Пусть валит в свою Москву!

— Ща он у меня повалит!

— Да погодите вы, дурачьё! — Света почти плакала. — Он про Лалакина приехал всё узнавать. Он про него в газету будет писать о его подвиге во имя любви. Правда, Серёж? Его даже зовут Серёжей, как Лалакина! Поняли вы? У него вообще жизнь такая же, как у Серёжки Лалакина. Он тоже за любовь пострадал! Поняли вы? А вы на него с кулаками. А ну, пошли все вместе танцевать. И он с нами пойдёт. Только троньте! Пойдём, Серёж.

— Идите, идите, танцуйте, — сказал я вдруг и от души рассмеялся. Сцена была действительно анекдотическая. Надвигающиеся на меня бойцы

выглядели явно озадаченными, поглядывали на Фофана — какое он примет решение. Фофан тоже, в свою очередь, посматривал на них и ничего не понимал. На носу у него сидел крупный прыщ, на кулаке фосфоресцировала крутая наколка “ФОФАНОВ ВИТЯ”, как будто ему приходилось время от времени сдавать кулаки куда-нибудь на хранение.

— Ты чо, правда, шо ль, в газету? — спросил один из приятелей.

— Ну, а почему бы и нет? — сказал я довольно дружелюбно — перспектива переселения отсюда непосредственно на покровское кладбище меня не прельщала, и нужно было использовать подсказку, которую мне дала мудрая Света.

— Во даёт! — воскликнул другой приятель. — И главное — молчит. Его дробить собираются, а он молчит, что... в газету. Ты чего молчишь-то? Мы-т дум-ли, ты просто так, по нашим девкам приехал. А ты в газете, что ли, работ-шь? А в какой газете-то?

— А новая появилась газета, — сказал я. — “Собутыльник” называется. О пользе алкоголя.

Враг рода человеческого меня тянул в новую заваруху. Но Света и тут выудила меня:

— Он шутит. Он просто духарной, не видите, что ли? Не “Собутыльник”, а “Собеседник”. Есть такая газета.

— Ну, нормально! — заржал один из парней. — “Собутыльник”, говорит! Ну, чувак!

— Точняк, есть такая газета, я видел. Молодёжная, — поддержал Свету другой. — Ну, чего, Фофан, делать-то будем? Чувак-то свой оказался.

— А ну вас к херам! — огрызнулся Фофан и решительно отправился на танцы. Его приятели уже по-новому интересовались мною:

— Ты, Серёг, не обижайся. Чего ты раньше-то с нами не познакомился? Выпить хочешь? Пошли, ща потанцуем, девок ещё наберём, завалимся к Жихарю. Жихарев Колян — знаешь? У него хибара свободная, загудим до утра, а утром купаться пойдём.

Они несли меня, как поток, мы влились обратно в танцующее месиво, где Фофан отплясывал раскорякой, отпихивая всех, кто ненароком влезал в круг его пляски. Для меня раздобыли бутылку, на треть наполненную водкой, дали хлебнуть. Мои недавние неприятели по очереди знакомились со мной — Димон, Вовик, В-лера, Аиксей, Шурик, Юрец. Появились и подруги — Люська, Анжелка, Ленок, Иришка, Татьяна. В промежутке между танцами В-лера осведомил обо мне рок-группу “Лепрозорий”, и “басирующая гитара” Юрий Робот объявил:

— А следующая наша рок-композиция, под названием “Я приеду вчера”, посвящается, на фиг, лучшему городу Липовской области — Москве, а также нашему гостю Сергею. Сергей работает в газете “Современник” и приехал к нам, чтобы написать о бывшем участнике нашего ансамбля Серёжке Лалакине, который погиб прекрасной смертью во имя люб...ви-и-и-и!

Последнее слово он прокричал неистово, и рок-груша в тот же миг взыграла нечто совсем непотребное, грохочущее, безумное. Все заплясали вокруг меня, и мне стало тошно, хоть волком вой. Они прыгали вокруг меня так, словно я был Серёжка Лалакин или Володька Высоцкий, спустившийся с небес как знамение, что есть, на фиг, истинная любовь. Юрий Робот кричал в микрофон слова песни, непонятно почему посвящённой мне:

*Я приеду вчера,
Подойду к тебе молча
И узнаю тогда,
С кем ты была вчера.
Он вчерашние щи,
Как козёл, доедает.
И не знает, говно,
Что тебе он давно,
И что мне он давно,
Нам двоим он давно —
На-до-е-да-а-а-ет!*

Обладай Фофан особой склонностью ума, он мог бы решить, что слова песни относятся к нему, мне и Свете, но ему явно было недосуг разбираться в подтекстах, к тому же он вполне увлёкся, кажется, Зеброй, знаменитой местной Лайсой. Когда посвящённый мне танец окончился, запустили медленный, и одна из девиц со словами: “Белый! Белый!” — бросилась мне на шею и завилыла, увлекая меня в танец.

— Почему это я белый? — осведомился я.

— Ты что! Это танец белый! Хочу с тобой танцевать, а ты не догадываешься.

— Прости, ты — Люся или Анжела?

— Нахал, ну, нахал! Анжела. А ты симпатичный. Чем это тебя Светка охмурила?

— Она читает много. Любит книгу. Ты любишь книгу?

— Фигу я люблю, а не книгу.

— У тебя есть все, чтобы любить фигу, — стройные ноги, фигура.

— Ой, ой, комплиментёр! А глаза?

— Как две молнии в египетской ночи.

— С ума сойду!

— Куда, позволь спросить?

— Что — куда?

— Сойдешь.

— Ой, не знаю. В ад хочу сойти.

— Ты и так в аду.

— Да ну, какой это ад, только видимость одна. Хочу, чтобы был бал у Сатаны, как в “Мастере и Маргарите”. Читал?

— Плакал навзрыд над каждой страницей.

— Класс книга. Мне иногда кажется, что я Маргарита. Мне бы намазаться волшебной мазью и полететь! Только Мастер очень тоскливый. Я бы на её месте за Воланда вышла или просто закрутила бы с ним.

— От него серой воняет.

— От мужика и должно вонять чем-нибудь — например, сигарой с косячком. Согласись, во мне есть что-то роковое.

— У вас тут уже была одна роковая.

— Кира, что ли? Да ну, нашлась тоже роковая! Ничего особенного в ней нет. Обыкновенная мочалка. Глазищи страшные, большие...

Танцы и бестолковые разговоры продолжались ещё часа полтора. Я не мог уйти — надо было сделать вид, что я и впрямь собираюсь писать о Лалакине, и тем самым обеспечить себе спокойное существование в Липах. Танцевал со Светой, снова с Анжелой, потом с какой-то необъявленной ранее Викторией. Однажды меня отозвали покурить В-лера, Димон и Юрец.

— Всё хоккей, — сказал В-лера. — Жихарь всех зовёт к себе, потом пойдём сделаем костерок на озере и будем купаться голые. Уважаешь?

— Отношусь с пониманием, — ответил я.

— Ну, как, всё нормально? — спросил Юрец.

— Как в танке, — ответил я.

— Красиво жить не запретишь? — спросил Димон.

— Запретил один такой, — ответил я.

Наконец, всё закончилось, и огромная орава потянулась из парка культуры к Жихарю. Дом Жихаря на Молодёжной улице оказался небольшим, набилось в него человек тридцать, было тесновато. Всем раздавались стаканчики и пластмассовые кружечки с водкой, помидоры, зелёный лук, кое-как раскуроченные банки со скумбрией в томатном соусе и сардинами в масле. Я получал ответы на между делом интересующие меня вопросы. Поинтересовался, что за человек живёт на улице Достоевского с причёской панка и в очках макнамара.

— В больнице лежит, — ответил Юрец. — Кое-кто его потрепал маленько. Панкует, пада.

— А что, панков треплете? — спросил я.

— А что их — по головке гладить? Как говорится, боремся за чистоту подрастающего поколения, — сказал Димон.

— Ты давай, журналист, пей, — вмешался Жихарь. — Да смотри, чтоб хорошую статью про нашего Серёжку сбацал. Напишешь плохую — найдём, ноги выдерем и вместо грифов к гитарам пришьоляем.

Я не привык пить так много плохой водки, внутри у меня плыло и горело, но я держался, изо всех сил старался не пьянеть.

— Жихарь, — сказал я, — так, значит, это ты Серёжку в тот день до электрички довёл?

— Не электричка, поезд скорый шёл, — сказал Жихарь. — Мы с Дёмой. Мы были тогда при нём, корешке нашем, обнялись на прощанье. Как сейчас вижу всё это...

В пьяных глазах Жихаря заблестели слёзы.

— Дёма, иди, присядь к нам, — позвал он. — Мы тот день вспоминаем, когда Серёжка наш доказал всем, на что способен мужчина. Между прочим, журналист, Дёма все горячие точки прошёл, понял? Ты сам-то служил?

— Было дело.

— Я много чего повидал, — сказал Дёма. — Но Серёжка наш в мирное время подвиг совершил. Доказал, что есть место подвигу. Дураки этого не понимают. Для нас 11 июля — как День Победы.

— Победы над кем? — спросил я.

— А над кем хочешь, — сказал Дёма.

— Над косностью, — умно добавил Жихарь. — Вся наша жизнь — борьба с косностью. Люди закоснели, забыли, что такое настоящая любовь. Девки — сегодня с одним, завтра с другим. Одно время, помню, когда ещё в школе учился, наши липовские лахудры только и думали, как бы за москвича выйти. А потом — за иностранца. Чуть что — в выходные гуртом в Москву, профурсетки. Теперь поняли, что мы, липари, — сила. Если хочешь, за нами — будущее.

— Липари — это липовские? — спросил я.

— Липари — это мы. Мы — костяк. А со временем на нас и мясо нарастёт. Народ забыл, что такое боевая организация. Развелось шпаны, панков, шушеры всякой. В Покровке уже молодёжь в церковь ходить стала. А кто с этим борется? Никто.

— А тяжёлый рок — тоже средство борьбы?

— Рок пробуждает мужские инстинкты. Под звуки рока хочется бороться, сворачивать челюсти всяким недобиткам.

В этот миг Дёма полез в нагрудный карман своей рубашки и извлёк оттуда фотографию Сталина.

— Знаешь этого человека? — спросил он меня строго.

— Если мне не изменяет память, это — генералиссимус Сталин, — ответил я.

— Вот именно, что генералиссимус! — воскликнул Дёма. — После Ленина — второй великий человек в России. Не согласен? Всех вот так держал. Вёл народ к победе.

Только теперь я заметил, что на стене в комнате, среди фотографий рок-музыкантов, девиц и самого Жихаря, красовался ещё один Виссарионич. Мне стало не по себе, когда я обнаружил ещё и фотографию Ленина на другой стене, показалось, что он висит и за спиной у меня, и смотрит мне в спину своим сатанинским прищуром, словно дулом пистолета.

— Я не понял, вы, липари, кто: коммунисты или фашисты? — спросил я твёрдым голосом.

Дёма и Жихарь переглянулись. В доме, между тем, веселье было в самом разгаре — хрипел магнитофон, несколько человек танцевали, Фофан в углу тискал Зebra, растрёпанная Татьяна с гневными и в то же время кокетливыми криками отбивалась от В-леры:

— Ты дурак, что ли?! Ну, ты озверел, что ли?!

Робот пел под гитару из Розенбаума:

— Мы м-мазаны одним мирррром!

Анжела врасос целовалась с Вовиком. А Света-то где? Ах, вот же она, под боком у меня жует что-то... Ах ты, овца глупая, славная... Голова у меня поплыла в сторону. Я увидел, как Жихарь щёлкает пальцами, требуя минутку внимания:

— Эй вы! Послушайте! Знаете, что тут о нас с вами говорят? Говорят, что мы — фашисты.

Тут все действительно приумолкли.

— Кто фашист?! Кто говорит?! Разнесу! — зарычал Фофан.

— А что тут обидного, — нарочито тихо сказала Анжела.

— Помолчи, дура, ты ничего не понимаешь! — оборвал её Жихарь.

— А и впрямь, — сказал я, — в самом слове ничего нет обидного. Фашист от слова “фашио”, значит — связка. Вы же сами говорите, что вы — костяк, боевая организация.

— Какие они, к чёрту, организация, — рассмеялась Анжела. — Так только, видимость одна.

— Анжелк, правда, помолчала бы ты, — сказала не то Люся, не то Ирина.

— Да брось ты, Серёг, — обнял меня Юрец. — Посмотри на этих парней. Какие они фашисты? Нормальные русские ребята. Хотят светлой жизни. Чтоб любовь была. Вышьем за любовь!

— Предлагаю тост за Владимира Ильича Ленина и за Иосифа Виссарионовича Сталина! — сказал Дёма.

— Предлагаю выпить за мои ножки, — захихикала Анжела.

— Вышейте лучше за Лалакина, — сказал я. — Что-то вы о нём совсем забыли.

Все дружно воодушевились:

— Правильно! За Серёжку! За настоящего мужчину!

— Какой он был мужчина? Так, видимость одна, — не то сказала Анжелка, не то мне уже автоматически послышалось. Я сильно опьянел. Всё кружилось. Я поднялся на ноги, по возможности прямо перешёл комнату, выбрался на воздух, думал, что меня вырвет, но отдышался, и тошнота стала медленно рассеиваться. Выбежала Света:

— Серёж, тебе плохо?

— А тебе?

— Мне нормально.

— Я рад за тебя. Иди к своим липарям. К своим дубарям.

— Зачем ты так? Они хорошие. У них дурь, но они хорошие. Они, конечно, зря бьют всяких там. Я понимаю, это не метод...

— Иди, иди к ним... Я хочу один. Где мой Чистый Просек? Где моё всё? Где моя жена?

— Господи, Серёжа... Я так тебя понимаю. Не убивайся ты только из-за неё. Она не стоит того. Господи, до чего же вы, мужчины, глупые! Это же и хорошо, что она ушла. Значит, не любит... А если не любит, то хуже было бы, если б осталась.

— Светочка, славенькая, уйди ради Бога! Точно!

Мне и впрямь в её присутствии стало хуже, снова подкатило к горлу. Я посмотрел на неё с ненавистью, она испугалась и пошла в дом. Меня вырвало. Я пробрался в кусты и сел там, размазывая по лицу холодный пот. В доме раздавались громкие голоса, за кого-то пили. Ага, все-таки за Владимира Ильича Ленина. И, должно быть, стоя. В распахнутое окно высунулась физиономия Фофана:

— Буржуазия вонючая! Сволочи! Дач понастроили! К ногтю! Спать к едрене фене! Вешать! Журналисты, мать вашу!

Это уже про меня.

Его отвели от окна. Из дома вышли Вовик и Анжела. Целуясь врасос, качаясь, протопали к кустам, рухнули где-то неподалеку от меня. Анжела страстно застонала. От её стоны в животе у меня мерзко защекотало. Я встал и быстро выбрался из кустов, выбежал на улицу и пошёл в сторону железной дороги. Напала слабость. Очнулся, когда перед лицом моим с громким рёвом выросла мельтешащая стена стремительного состава. Наконец, можно было перейти через взбудораженные рельсы. Какая-то улица Заводская. Не то. Побрёл дальше. Улица Новая. Свернул влево, мимо долгих заборов. Наткнулся на высокую ограду, поверху увенчанную колючей проволокой, как терниями. Кажется, кондитерская фабрика. Стал обходить её. Господи,

как долго! Какая мука! Зачем-то пошёл назад. Снова очутился на улице Новой. Спустился по ней. Посёлок кончился. Открылось поле, небо, полное звёзд, прохладный ветер. Окунулся ногой в ручей. Должно быть, он бежит в Тихорецкое озеро. Пройдя порядком вдоль ручья, я вошёл в лес, лёг и увидел широкую водную гладь, по ней плывёт пароходик, мотор его заглушается, пароход остановился, с палубы мне машут: “Где же ты, господи! Мы тебя ищем-ищем по всему берегу! Ушёл и ничего не сказал. Иди скорее к нам!” Я бегу к ним, подбегаю, но они, оказывается, зовут вовсе не меня. Продолжают махать руками в ту сторону, где я только что был: “Ну, пожалуйста, не мучай нас! Иди к нам скорее! Нам без тебя невесело!” Я оборачиваюсь, но никак не могу разглядеть, кого же они зовут...

Должно быть, я спал очень недолго. Проснувшись, увидел то же ночное небо, те же сонные деревья, вздыхающие под ветром. Хмель значительно выветрился. Я побрёл дальше вдоль ручья и, когда вышел из леса, увидел внизу перед собой вдалеке озеро и маленькую точку костра на берегу. Мне захотелось им ещё что-то сказать, и я направился в сторону красной точки.

У костра сидели Жихарь и барабанщик “Лепрозория” Игоряша. На берегу стоял голый Фофан, покачивался и икал. В отблесках костра можно было разглядеть, что спина его густо покрыта присосавшимися комарами. Оглянувшись, спросил:

— Если залезу, утону или нет?

— Утонешь, — ответил я.

— Ты, журналист, молчи лучше, — сказал Фофан. — Жихарь, утону я или нет, спрашиваю?

— А, Сергей, вернулся, — сказал Жихарь мирно. — Сядешь с нами или пойдёшь купаться?

— Жихарь!

— Да утонешь! Стой и не рыпайся. Остывай.

— Ладно. Ты у нас главный. Слушаюсь.

— А что, — спросил я, подсаживаясь к костру. — Остальные все купаются?

— Да ну, какие там остальные, — ответил Жихарь. — Анжелка с Ленкой да Шурик. Остальные дома остались, дрыхнут.

— А Светка?

— А Светка тебя пошла разыскивать. Не найдёт — здесь будет.

На середине озёрной поверхности барахтались три головы, слышались повизгивания девиц и похохатывания Шурика. Вокруг было мирно и хорошо — купающееся трио, смешной пьяный Фофан, облепленный комарами, спокойные лица Жихаря и Игоряши в оранжевых отсветах мудрого костерка. Я лёг на локоть и закурил, глядя в огонь.

— Выпьешь стопарик? — спросил Игоряша.

— Плесните самую малость, а то что-то башка... Хватит, хватит. Спасибо. За Лалакина. А то я смылся тогда, так ещё подумаете, что не хотел за него пить.

Я выпил, закурил хрустящим огурцом.

— Николай, — обратился я к Жихарю, — расскажи про Лалакина, как всё это получилось?

— Что тебя конкретно интересует?

— Да я всё думаю: мы ведь не японцы, чтоб такие хакакири... У нас ведь другая психология. Устройство другое. Я понимаю там с пьяной лавочки в окно сигануть или уж, когда припрёт, в какую-то минуту отчаяния. А так, продуманно, напоказ... Назло? Тогда какая ж тут любовь, если зло такое?

— Трудно так сразу сформулировать, — ответил Жихарь, извлекая из костра уголёк, чтобы прикурить. — Надо было ещё и Серёжку знать как следует. Я-то с ним ещё со школы дружил...

Были два школьных друга — Колька Жихарев и Серёжка Лалакин. Серёжка — слабый, болезненный в начальных классах, любил мечтать, фантазировать, придумывать всякие истории, розыгрыши. Кольке ужасно нрави-

лось прийти ночью вместе с Серёжкой к какому-нибудь однокласснику и с волнением в глазах поведать ему, как они нашли клад в развалинах старой церкви, но у них сломалась лопата, чтобы этот клад перепрятать, потому они и решили обратиться за помощью; а потом, когда одноклассник откажет, проследить, как он, озираясь, выйдет с лопатой из дому, преследовать его и со смехом слушать, как он ругается, найдя в ящике, закопанном в указанном месте, записку: “Ну, и дурак же ты, Вова!” Или наврать какой-нибудь ябеде, что сматываются в Кара-Кумы, а самим прийти в школу пораньше, спрятаться в шкафу и, когда ябеда торжественно заявит учительнице об их бегстве, выпрыгнуть, навсегда закрепляя за ябедой обидную кличку Маринка Кара-Кумиха. Самое смешное, что так её в Липах до сих пор и зовут. Крепкий Колька всегда заступался за Серёжку, и они стали неразлучными. После школы шли к одному или к другому, вместе рисовали, резались в игрушечный Колькин хоккей, залезали в шкаф к Серёжкиному отцу, где обязательно стояло полбутылки водки, отпивали, подолгу смотрели на свет, заметна ли убыль, и потом веселились, изображая пьяных.

Однажды случился грех: отпили из отцовской бутылки чуть больше, чем было можно. Отец, который и так уже в последнее время стал что-то подозревать, наверняка бы заметил. Решили добавить немного воды, но бутылка непонятно как выскользнула из рук, покатила по полу и расплескалась. Смерть Серёжкиного отца так и запомнилась Кольке катящейся по полу бутылкой, из горлышка которой выбрызгивается водка. Именно в тот момент, когда они решали, как избежать отцова ремня, к дому подъехал на мотоцикле милиционер из Покровки и спросил, есть ли кто-нибудь дома. Вошёл, посмотрел внимательно на Серёжку, который назвался сыном Петра Васильевича Лалакина, и сказал: “Ну, ты уже малый почти взрослый. Короче говоря, отец твой на тридцать втором километре попал в аварию. Насмерть”. После гибели старшего Лалакина Колька стал даже с каким-то почтением относиться к своему приятелю. Серёжка сделался философом, часто рассуждал о том, что такое смерть. Им было тогда по четырнадцать. Смерть всегда ходит рядом с настоящей любовью, решил он и стал мечтать о роковой, губительной любви.

Кира была на год их старше и училась в десятом классе. О ней уже начинали говорить как об очень красивой девочке — высокая, осанистая, волнистые тёмные волосы, гордый взгляд огромных глаз. Если кто-то и осмеливался к ней приставать, то как-то заведомо безнадежно и униженно — она была неприступна при всём своём непередаваемом изяществе.

Серёжка недолго скрывал от Кольки, что влюблён.

— Колян, поклянись, что никому не проболтаешься. Поклянись нашей дружбой.

— Клянусь, а что такое?

— Если проболтаешься — ты не друг мне больше, понял? Я в Киру Февралёву из десятого “А” влюбился. И ты знаешь, это серьёзно.

— И что же ты будешь делать?

— Как что — добиваться её любви.

— Правильно. Я бы тоже в неё влюбился, если бы не ты. Она клёвая, — сказал Колька, стараясь как можно больше войти к другу в доверие.

После десятого класса Кира поступила в Раменское на курсы медсестёр. Серёжка знал, какой электричкой она обычно возвращается в Липы, и ходил её встречать, но приблизиться не решался — провожал её до Тихорецкой улицы, бредя чуть поодаль. Наконец, однажды осмелился. Мать Серёжкиной подрабатывала продажей цветов, иногда ей удавалось уговорить и сына, и он несколько раз ездил в Москву и стоял там в переходе у станции “Электрозаводская”. Ему удалось утаить от матери часть денег так, что появилась возможность не везти в Москву огромный букет из тридцати пяти неплохих роз. С этим букетом он и решил объясниться Кире. Кольку больше всего поразило то, с каким восторгом Лалакин рассказывал ему об этой сцене.

Кира училась на вечерних курсах и возвращалась поздно. Десять часов вечера. Июнь. Сумерки. Вот она вышла из электрички, спустилась в подземный переход, поднялась наружу.

— Кира, добрый вечер. Можно, я подарю тебе этот букет?

Она смотрит на его лицо, на тридцать пять благоухающих лиц, прижатых щека к щеке, качает головой, улыбается:

— Мне? А почему? Вообще-то можно... Спасибо. Но почему?

— Потому что... Можно, я провожу тебя до дома?

— Хорошо... Господи, мне ещё никогда не дарили столько! Они в руках не умещаются!

— Кира. Я люблю тебя. Я давно влюблён в тебя. Уже целый год.

— Целый год? Влюблён? И что же?

— Не знаю... Я хочу встречаться с тобой иногда.

— Тебя, кажется, Игорем зовут? Ты на класс моложе был, да?

— Нет, меня зовут Серё... Сергей.

— Так вот, Сергей, мы уже пришли, вот мой дом. Спасибо тебе, что ты есть на белом свете. И за цветы спасибо. Но только встречаться нам не нужно. Ты меня разлюби побыстрее, ладно? Меня не нужно любить. Я — плохая. Прощай.

Она поцеловала его в щёку и добавила:

— Это всё глупости. Это пройдёт. Ничего и нет. Прощай, милый Сергей.

Рассказывая об этом Кольке, он радостно ворошил на голове волосы и восторгался:

— Если бы ты слышал, как она это сказала: “Спасибо тебе, что ты есть на белом свете!”

Кольке же было обидно за друга, что тому так сразу дали от ворот поворот. И уже тогда закралось сомнение: а стоит ли вообще её любить, если она такая, сама говорит, что её не нужно любить. Разве настоящие девушки так говорят тем, кто их любит и дарит сразу столько роз? Вот у Кольки с Наташкой всё просто: он сказал ей, что она ему жутко нравится, и теперь они вместе ходят в кино, там сидят в обнимку, потом подолгу где-нибудь целуются, и уже заходит очень далеко — ещё чуть-чуть... и вообще. А скоро в армию, будут переписываться, а там, может, и поженятся, когда он вернётся.

— Это ты про Натаху Лызлову? — вмешался в рассказ Жихаря Фофан. — Как же, дождалась она тебя, сука! В момент за Маралыча выскочила. Эх, бабы!

— Ты бы надел что-нибудь, — сказал Жихарь. — А то от тебя к нам пьяные комары так и лезут.

— Да ну вас! Я лучше купаться поеду.

Фофан сделал три шага в воду, забрёл по колено и плюхнулся с громким плеском на брюхо. Но поплыл.

— Эй, вы! Там к вам Фофан плывёт, — крикнул Жихарь. — Проследите, чтоб не утонул. Пьяный в дымину!

— Фофанчик! Плыви к нам, мы тебя защекочем, — раздалось с середины озера.

— Плыву! Утоплю, лахудры! — отвечал Фофан.

— Да, Натаха меня не дождалась. Ну, и чёрт с ней. А перед тем как нас с Серёжкой в армию забрали, он всё-таки сблизился с Кирой. Оказалось, что у неё в Раменском был кто-то...

Судя по всему, у Киры кто-то появился там, в Раменском. Лалакин продолжал встречать её так же, как до объяснения, — стоял где-нибудь в тени, потом тенью шёл за ней, смотрел, как в её окне загорается свет, как мелькает её силуэт на шторах. И вот несколько раз, уже в начале сентября, она так и не приехала. Он до последней электрички ждал её, потом на всякий случай подходил к дому на Тихорецкой и видел, что Кирино окно не освещено. А в конце сентября или уже в начале октября она вышла из электрички не одна, а с каким-то мужчиной лет тридцати, с бородой, поднявшись из подземного перехода, взяла его под руку и сказала: “Пойдём, только побыстрее”. Была уже полночь, Кира и её провожатый быстро прошмыгнули к ней в дом, а свет в Кирином окне так и не загорелся.

Через несколько дней Лалакин, сидя с Колькой на озере за ужиением рыбы, вдруг сказал: “Ты знаешь, Кира очень несчастна”. И потом рассказал

о бородатом человеке и о том, что, если бы у бородатого были серьёзные намерения, им бы не пришлось скрываться от людей и идти от станции побыстрее.

Теперь он не ждал Киру возле станции, а стоял обычно в тени деревьев, там, где кончается посёлок и начинается лес. У него даже было выбрано излюбленное место, откуда хорошо виден дом Киры, крыльцо и Кирино окно. С осени он работал на мясокомбинате в Доиловке, разделявал огромные мясные туши, сильно уставал — физически Серёжка не был очень крепким. Приходя же сюда, к дому Киры, он всегда чувствовал облегчение, гулял по лесу среди первых, робких снежинок, постепенно усталость таяла, тело наполнялось тёплой истомой свежих, сонных сил. Воздух, холодный и влажный, веял сладостной грустью Серёжкиной неразделённой любви. Серёжка счастливо вздыхал и шёл на своё смотровое место. После пятнадцати-двадцати минут ожидания, наконец, появлялась Кира — иногда в сопровождении бородатого человека, чаще — одна. Если одна, загоралась надежда, что у неё с ним всё кончилось, и Серёжка загадывал: ещё пять раз вернётся без него, и я окликну её, поведу немножко прогуляться — до озера и обратно. Перед самым Новым годом эти “пять раз” вдруг выпали. От неожиданности Серёжкина душа наполнилась радостной и в то же время тревожной смутой. Он уже успел привыкнуть к своей неразделённости и грусти. Но раз это случилось, ничего не поделаешь: завтра надо было выполнять загаданное. Но завтра — вечерняя смена. Значит, послезавтра. На другой день утром, перед работой, он съездил в Москву и купил Кире подарок к Новому году — тонкое золотое колечко с тремя крошечными изумрудиками, недорогое, но славное.

Наступил тот загаданный день. После работы, вдвойне измотанный, потому что к обычной усталости примешивалась усталость волнительного ожидания, Серёжка Лалакин пришёл на Тихорецкую улицу. Уже лежал плотный снег, в лесу пахло морозными ветками. Обойдя два раза вокруг озера, Серёжка вдруг заподозрил, что опаздывает, и побежал скорее к дому Киры. Он простоял на своем посту два часа, сжимая потной ладонью в кармане коробочку с подарком, застудил горло, уже не чувствовал ног и собрался было уходить, как вдруг появилась Кира. Она бежала по улице, словно за ней кто-то гнался. Серёжка сделал несколько шагов вперёд, но Кира вдруг пробежала мимо своего дома и устремилась в лес, прямо в его сторону. Она промелькнула среди деревьев неподалёку, остановилась, он тихо подошёл ближе и услышал её всхлипывания. Сделал ещё три шага, она услышала, стала испуганно вглядываться в темноту. Тогда он решительно направился к ней, говоря: “Кира, пожалуйста, не пугайся. Это я, Сергей. Я дарил тебе цветы осенью. Помнишь?”

— Как ты здесь оказался?

— Я ждал тебя. Я принёс тебе подарок к Новому году. Вот смотри.

Она взяла из его рук коробочку, но даже не раскрыла её, не посмотрела, что за подарок, только громко выдохнула:

— О, Господи!

И вдруг бросилась к нему на шею, уткнулась в искусственный меховой воротник его суконного пальто и разрыдалась. Сердце его колотилось неистово, а ладонь не верила, что гладит и прижимает к груди кудрявую голову чудесной Киры.

— Что ты? Ну, что ты, милая? — говорил голос. — Зачем так плакать? Успокойся. Всё будет хорошо. Скоро Новый год.

Чуть успокоившись, Кира отстранилась, шагнула в сторону, стала утирать лицо носовым платком. Спросила:

— Ты давно здесь стоишь?

— С тех пор, как стемнело, — ответил Серёжкин голос.

— Господи, бедный. Ты замёрз, наверное. Пойдём скорее в дом, я напою тебя горячим чаем с вареньем.

И вот уже не бородатый человек, а он, Серёжка, вошёл ночью в дом Киры Февралёвой, хотел помочь ей раздеться, но она почему-то сказала: “Не надо, я сама”. Велела ему разуться и снять мокрые носки, которые тут же повесила подсушить. Ему было стыдно босых ног, и предложенные Кирой войлочные ботинки с отрезанными задниками оказались спасением.

— Можешь не говорить шёпотом. Дома никого нет, — сказала Кира. И ведь точно: он же видел утром, как Кирина мама садилась в автобус на Патрикеево. Значит, не вернулась.

— Мама до первого января уехала к сестре, — добавила Кира. — Надо же, завтра уже тридцать первое. Даже странно как-то, что будет Новый год. Господи, я ведь даже не посмотрела, что ты принёс-то такое!

Стала мерить колечко, оно оказалось почти впору, всё-таки чуть-чуть свободно. Он принялся бормотать, что завтра поедет и обменяет, ведь он же не знал, какой размер. Ему казалось, что колечко и так маленькое, боялся — вдруг не налезет, а у Киры такие тонкие пальцы! Он обязательно завтра поменяет.

— Нет, не надо, — отказалась она. — Завтра меня не будет дома. Пусть лучше останется, какое есть. Всё-таки к Новому году. Спасибо, Серёжа. Мы второй раз встречаемся, и второй раз ты с подарком.

Закипел чайник, стали пить чай с вишнёвым вареньем. В тепле Серёжка разомлел и мысленно ругал себя за то, что спипаются веки. Кира заметила, засмеялась и сказала, что ему пора домой.

— Может быть, ещё посидим чуть-чуть?

— Нет, уже надо. Я тоже страшно хочу спать.

Одеваясь, он напряжённо думал, как в таком случае должен поступить влюблённый мужчина, если в доме никого нет, кроме него и той, которую он любит. Но по всему было видно, Кира не хочет, чтобы он остался. Всё-таки с надеждой долго посмотрел в её глаза на прощанье. Она устало улыбнулась и протянула ему руку, которую он хотел поцеловать, но как-то неловко стал подносить к губам. Кира засмеялась и сказала: “Не надо”. Он косолапо шагнул в дверь и выбрался в морозную ночь очень несчастный. Но, дойдя до своего дома, успокоился, шёл по освещённой улице и улыбался мелкому снегу, особенно густо роющемуся под зонтиками жёлтых фонарей.

— Я дурак, — сказал Жихарь, — надо было мне ещё тогда, когда он рассказывал, как дарил то кольцо, сказать ему: остановись, не стоит она того. А я ещё подзуживал: жми, ещё немного, и она твоя. Ведь это ж надо: здоровый мужик всю осень и зиму стоит почти каждый вечер и ждёт у моря погоды. Конечно, она и крутила им, как хотела. Под Новый год у нас была хорошая компания, посидели так культурно, потанцевали, а его, дурака, потянуло туда посмотреть: вдруг она не уехала. Я за ним потащился — думаю, вдруг чего, ещё хмырь этот там окажется, как бы не поцапались. Стою за калиткой. Он — тук-тук-тук. Открывает. “Кира, — говорит, — с Новым годом. Ты одна?” — “Одна”. — “Я к тебе”. — “Ты, — говорит, — вышимши, проваливай...”

Лалакин был пьян. Он даже не заметил, что Колька увязался за ним. В доме Киры горел свет, и Серёжка подумал: или сейчас, или никогда. Новый год начинается — ну её к лешему! Громко протопал по ступенькам крыльца. Постучался в дверь, приосанился. Дверь отворилась, и Серёжка увидел счастливое лицо Киры, которое моментально обрело растерянное выражение, потом погрузнело.

— Это ты, Серёжа? — сказала она.

— Я. Здравствуй, Кира. С Новым годом тебя! Я не помешал? Ты одна?

— Я одна, — ответила Кира. — Ты пьяный?

— Не очень.

— Прости, я не могу тебя пригласить к себе. Иди лучше к своим друзьям.

— Я хочу к тебе. Я люблю тебя, Кира, уже сто лет!

— И что же?

— Я умру, если ты меня сейчас прогонишь!

— Ты пьян и сам не знаешь, что говоришь. Пожалуйста, не приставай ко мне сейчас, уходи, мне и так ужасно тошно.

Она закрыла дверь. Он долго стоял перед закрытой дверью и шатался, потом закурил сигарету, заскрипел по морозному снегу, увидел Кольку.

— Ха! А ты как тут оказался?

— Тебя пошёл искать. Пошли к нашим, сейчас будем салют бухать. Там ещё же Робот только подвалил с двумя пузырями.

— Колька, — сказал Лалакин возбуждённо, — Новый год! Вот кайф-то! Что мне делать? Любно её. Разлюбить? Эх, разлюбить и всё! Пошли бузить!

По пути он бросался снежками в окна домов. Но снег был мягкий, морозный, и, если какой-нибудь снежок и долетал, не рассыпавшись, ни одно окно не разбилось. Когда пришли к Славке Медведеву, у которого встречали праздник, застали финал потушения небольшого пожарчика, вызванного тем, что пьяный Робот зажёг фейерверк в доме.

В новом году Серёжка уже почти ничего не рассказывал Кольке о Кире. В январе Кира ездила с подружками из училища в Ленинград, что ли, весной Серёжка как-то нехотя ухаживал за Иркочкой Мирошниченко с Заводской улицы — всё-таки, полная тёзка знаменитой актрисы! — нарочно прогуливался с ней мимо дома Киры, научился играть на гитаре, сколотился ансамблик. Появились заботы о покупке аппаратуры, проведении репетиций. А в мае их забрали в армию — и Кольку, и Серёжку. Лалакин служил в Казахстане, Жихарев — неподалёку, в Оренбуржье. Раз в месяц Колька получал от приятеля письма. И лишь в одном письме было о Кире: “А знаешь, Колян, у меня к Кире ничего не кончилось. Если бы ты знал, как я хочу её увидеть! Я отправил ей свою фотографию. Ведь мы повидались один раз перед тем, как я ушёл в армию. Получил повестку и пошёл к ней. Она пожелала мне хорошо служить. А недавно от неё пришло письмо. Много пишет о себе. Ничего не скрывает. У неё был любимый человек, который не очень-то красиво с ней обошёлся — обещал развестись с женой, а потом передумал и сказал: “Расстанемся друзьями”. Как водится. Теперь у неё никого нет, и она иногда думает обо мне. В ответ на мою фотографию прислала мне свою. Может быть, у нас всё ещё впереди, как ты думаешь? Я верю в это, и мне легче служить”.

В армии Лалакин получил водительские права, вернулся он чуть раньше Жихарева, и когда Колька демобилизовался, его приятель уже водил рейсовый автобус “Липы—Садово-Дачное”. Кира работала медсестрой в поликлинике, но мечты Лалакина снова болтались где-то вдалеке от действительности: у Киры было новое увлечение, и на сей раз какое-то необъяснимо-вульгарное. Раз в неделю, в субботу, Липы оглашались мотоциклетным рёвом. Стремительный дьявол в чёрной кожаной куртке, чёрных крагах и ядовито-болотного цвета джинсах пронёсся по улице Энтузиастов, потом по Советской, по улице Правды до железнодорожного переезда, нетерпеливо дрындя, если приходилось ждать, пока проедет поезд, нырял под едва начинающий приподниматься шлагбаум, мчался по Заводской и, наконец, сворачивал на Тихорецкую. Свободные собаки отовсюду сбегались на его рёв и с клацающим лаем неслись вдогонку. Не обращая на них никакого внимания, дьявол тормозил у дома Киры Февралёвой, небрежным жестом снимал с головы изрисованный чёрными крыльями шлем и начинал бибикать. Кира выбегала из дому с весёлым смехом, трепала дьявола по волосам и вскакивала на седло за его спиной. Он снова облачался в шлем и мчал Киру прочь из посёлка, словно пленницу. Иногда, если Лалакин работал в субботний день, ему приходилось прикусывать губу, видя, как его автобус на бешеной скорости обгоняет дьявольский мотоцикл с треплющимся по ветру флагом Кириных волнистых волос. Или он возвращался из Садово-Дачного в Липы, и дьявол с прекрасной пленницей несся ему навстречу: астронавтический шлем, страшные краги, как лапы, амулет на груди, а за спиной — подставленное ветру удивительное, запрокинутое лицо Киры с полуприкрытыми глазами. И он не знал, что хуже: видеть, как они летят навстречу, или долго смотреть, как они, обогнав его, удаляются по шоссе. Испытывал одинаковое желание объявить в микрофон: “Простите, граждане!” — и резко крутануть руль в сторону. После таких встреч на шоссе Лалакин приходил на эстраду танцплощадки злой, возбуждённый, талантливый, играл виртуозно, выжимая из гитары всю свою боль и отчаяние, пел чисто, без фальши, словно каждая песня должна была стать последней. К финалу танцевального вечера в аппаратуре блуждало статическое электричество, ни к чему

нельзя было притронуться, чтоб не ужалило, в колонках появлялся фон, а то и ломалось что-нибудь, и приходилось заканчивать танцы раньше времени, чтобы чинить аппаратуру.

Мотоциклетный дьявол жил в Покровке. Звали его Лёшкой, по прозвищу Джонленнон, а в Садово-Дачное ездил он с Кирой к каким-то своим приятелям из Москвы, тоже гонщикам. И в Липах водились мотоциклетчики, но куда более безвредные для поселковой тишины. Тогда о Кире впервые начали всерьёз судачить с недовольством. Во-первых, ежесубботный треск мотоцикла; во-вторых, мало ей, что ли, наших, липовских; в-третьих, на все упрёки Кира отвечала молчанием и горделивой усмешкой; в-четвёртых, мать Киры не упускала случая пожаловаться на дочь в магазинной очереди или едуци на электричке в Люберцы, где она работала в районном агентстве Союзпечати бухгалтером. Липовские женщины, приходя в поликлинику, говорили Кире: “Уколы-то ты, девка, хорошо ставишь, не больно, а вот стыд ты совсем потеряла”.

Однажды Жихарь подслушал разговор старушек: “Поговаривают, мол, Кирка Хвевралёва ажник чуть ли не кажен месяц абортывает”. Он поспешил сообщить об этом Серёжке. Тот побагровел и зло ответил: “Те, кто разносят чужь собачью всяких похабных сплетниц, сами в сто раз хуже”.

Потом пошли слухи, будто Джонленнон едет осенью на соревнования во Францию и берёт с собой Киру. Этим слухам вообще никто не верил, кроме Лалакина, которого они выводили из себя. Осенью он вдруг начал сочинять стихи, поначалу настолько смехотворные, что это признавали даже ближайшие Серёжкины приятели — Жихарь, Дёма, Игоряша и Робот — весь ансамблик, который тогда ещё скромненько именовался “Липсы”. “Клипсы”, дразнили их девчонки, а парням почему-то нравилось: звучит почти как “Битлы” или как что-то ещё более заграничное. Зимой лалакинская поэзия стала несколько улучшаться, и к лету “Липсы” принялись готовить сногшибательную программу, почти целиком состоящую из песен на стихи Лалакина и на музыку его же и Дёмина. Жихарь тоже сочинил одну песню на Серёжкины стихи, но её забраковали.

Стихи Серёжка писал мрачноватые и, конечно же, с уклоном в сюрреализм. Были и сатирические — о разговорах в магазинной очереди, о крупном начальнике, построенном посреди Лип дачу, которая стала расти-расти, да и полностью поглотила посёлок, так что у начальника теперь оказались личные магазины, железнодорожная станция, школа, поликлиника, озеро и подсобный кондитерский завод. Это стихотворение про начальника стало для всех самым любимым, Дёма сочинил к нему музыку, сильно смахивающую на “Smoke On The Water”.

— Ну-ка, Игоряш, кинь-ка гитарку, мы ща журналисту исполним. Игоряш, спишь, что ли? Ну, пусть спит. Правда, я не в голосе.

Жихарь взял гитару, быстренько её подстроил немного и негромко запел про экспансивного начальника и его дачу. Слова песни были слабенькие, но не без остроумия. Пока в рассказе Жихаря наступила музыкальная пауза, я поинтересовался, как там купание — что-то оно затянулось. Поверхность озера была гладкой, в чуть-чуть забрезживших предрассветных сумерках можно было различить три фигуры на другом берегу. Они бегали друг за другом, видимо, разогревались, играя в салочки.

— Что-то Фофана не видно, — сказал я, когда Жихарь перестал петь. — Видать, всё-таки утоп.

— Вон он валяется в траве, — указал Жихарь на белёсое пятно неподалеку от нас. — Надо бы накрыть его чем-нибудь. Лежит голый, простудится, олух.

Я встал, поднял лежащий у костра широкий фофановский пиджак и, подойдя к громко сопящему во сне телу Фофана, укрыл его. Ужасно хотелось спать, но, судя по всему, рассказ Жихаря близился к завершению. Я вернулся к костру и приготовился слушать дальше.

— В общем, за зиму мы наладили штук двадцать своих песен на Серёгины слова. Мать моя добилась разрешения, чтоб нам можно было исполнить

их в клубе. Как раз на Восьмое марта. Организовали в клубе “огонёк” с номерами самодеятельности. Всё, как в лучших домах Лондона: входные билеты по пять рублей, закусончик, ну, а это дело каждый с собой принёс, кто нормальный человек. Вдруг — ё-моё! — заявляется Кирка. И одна. Без Джонленнона.

— Так он во Францию ездил или нет?

— Да ну, какая там, на фиг, Франция. Он и сам-то не гонщик никакой — так, механиком при настоящих гонщиках работал, только что понт на округу наводил со своим пропердоллером, козёл вонючий. С самого Нового года о нём ни слуху ни духу не было. Кирка, само собой, и заскучала...

Как-то не сразу и заметили, что по субботам перестали оглашать посёлков дьявольские мотоциклетные стоны и тарыхтения. Потом однажды, заведя бредущую на работу в поликлинику Киру, кто-то спохватился: “Чегой-то прекратил к ней кататься тот оглашенный”. Кира ходила грустная, но всё с тою же гордой осанкой и строгой неприступностью во взгляде. Подруг у неё не было, ни на какие вечеринки она не ходила, поэтому-то все и удивились, увидев её в клубе на вечере Восьмого марта. Жихарь первым делом подскокил к Лалакину:

— Серёг, там твоя Кира пришла. Я потому тебе говорю, чтоб ты, когда петь станешь, не сорвался.

— Мне-то что, — пожал плечами Лалакин, но покраснел.

Пел и играл он всё равно скверно, сбивался с ритма, путал слова, недотягивал, перетягивал, фальшивил и очень смущался, когда Робот залихватски объявлял: “Слова и музыка Сергея Лалакина”. Киру приглашали танцевать, пару раз она согласилась, но потом стала отказываться, и уже никто не решался. Что ни говори, а в центре внимания в тот вечер были двое — Лалакин со своими сочинениями и Кира Февралёва со своей красотой, сделавшейся ещё более магической. В этой красоте было всё — недоступная возвышенность и какой-то тайный порок; глубокая печаль и радость собственного достоинства; смуглость, тень и в то же время сильный внутренний свет. И самое главное — тайна, не обесцененная никакими сплетнями и пересудами. Впервые все видели, что их в Липах двое — лучших, притягивающих к себе внимание. Причём Лалакин — свой, наш, липовский самородок, симпатяга — притягивал положительно. А Кира — отрицательно. Кому нужна её красота? Чего больше от этой красоты — добра или зла? Чувяли беду!

Незадолго до окончания вечера Кира собралась уходить. Кто-то интересовался, можно ли пойти провожать — нет, нет, не стоит, ради Бога, не надо. Жихарь вышел посмотреть. Да, надела плащ и ушла. Лалакин нервно задёргался, сказал: “Я сейчас”, — и припустился за ней. И десяти минут не прошло, как он вернулся. Вид у него был счастливый. “Ну, что?” — спросил Жихарь. “Ничего, берите гитары, закрутим напоследок”, — ответил Лалакин. Напоследок он пел и играл, как настоящий, ещё лучше, чем когда возвращался злой, встретив на шоссе чёрного мотоциклиста с пленницей.

Он стал скрытным, ничего уже не рассказывал Жихарю, хотя однажды в конце марта Жихарь видел его гуляющим с Кирой на берегу озера; в другой раз они вместе пришли в кино минут через десять после начала сеанса и минут за пять до конца удалились. На вопросы и подкалывания остальных приятелей Лалакин просто молчал или решительно переводил разговор на другую тему. Во взаимоотношениях Жихаря с Серёжкой наступил длительный провал. Встречались они только на репетициях и выступлениях. Жихарь познакомился с весёлой девушкой Таней из Малаховки, роман их длился недолго — в августе они расписались. Лалакин был приглашён в свидетели, на свадьбе, в отличие от большинства гостей, не напился, а в конце августа случилось приключение с Джонленноном, в результате которого Лалакин оказался в больнице.

Джонленнон объявился в Липах, как старый, наскучивший анекдот, который постепенно начал забываться. Вновь заревел по улицам его дурацкий чёрный мотоцикл, вновь побежали за ним лающие псы, вновь, как ни в чём не бывало, он подкатил к дому на Тихорецкой улице и стал бибикать. Но на

сей раз никто не выскочил к нему с весёлым смехом. Он прошёл в дом, но вскоре вышел с видом человека, ожидавшего получить премию, а оказалось, что у него даже вычли из зарплаты. “Ну, наглеют Липы! — сказал он. — Возомнили себя Монмантром”. Он принялся гонять по субботнему посёлку и очень скоро уже катал на заднем седле главных липовских потаскушек — Простыню и Зебру.

— А почему у них кликухи-то такие роскошные? — перебил я Жихаря.

— А они долгое время поначалу ходили в самошвейных тряпках с нашитыми фирменными лейблами. У Простыни было платье такое, будто из простыни сшито, а у Зебры — брючата в чёрную и белую полосу. Полный отпад. Совсем дрянь девки. С кем они только не таскались! Не найдёшь в Липах такого, кому бы от них не обломилось. Натура, что ли, такая? Мысли только в одну сторону направлены — с кем бы ещё. Ну, а тут Джонленнон, самый кайф. Да ещё после Кыры. Небось, дуры, возомнили, что они лучше её.

— Тебе от них тоже обламывалось? — спросил я.

— А как же. Что я, умнее других, что ли? — не то с гордостью, не то с самоиронией ответил Жихарь. — Я с женой и года не прожил, развёлся, а эти расплетайки всегда под рукой. Пригодились. Гляди, и тебя облеяют. Ладно, хрен бы с ними. В рассказе они только подсобную роль играют. Этот придурак покрутился с обеими и опять к Кире стал клеиться. Наглед, падла, лез, угрожал. Как-то раз мы идём с Серёжкой по улице, смотрим — этот на своём драндулете. Серёжка встал поперёк дороги — и ни с места. Я даже сдрейфил — собьёт ведь, ублюдок. Но хватило ума, затормозил. “Чего надо? Жить надоело?” Серёжка, ни слова не говоря, хватя его за грудки. “Будешь, — говорит, — приставать к моей невесте, убью тебя, засранец!” А тот не шухерится, борзееет. Серёжка никогда в жизни не дрался, а тут — надо было его видеть. Ка-ак впишет ему в челюсть, тот с мотоцикла — бряк! Вскочил, кинулся, а Серёжка: “Что, ещё повторить?” И повторил, да ещё премияльную с левой в ухо. Тут я подоспел, схватил Джонленнона, поставил на цырлы. “Садись, — говорю, — на свой самокат, и чтоб тебя в Липах больше ни одна собака не видела”. Тот шлем подобрал, мотоцикл поднял, отхаркнулся и затарахтел, пока ещё не огреб. Проходит дня три, мы вечером на танцах лабаем, вдруг кричат: “Ложись!” И какая-то дубина — фига-гак прямо в нас, на сцену, микрофон свалился, Роботу по лбу заехало. Ну, и тут началось! Их с Покровки человек двадцать подвалило, кто с ремнём, кто с цепью, кто с железякой. Понеслась молотиловка! Девки визжат, кровяца, мат... Я стояк от микрофона схватил и как в фильме “Александр Невский” — направо, налево, только относи...

— Ой, кайфец какой! — вдруг раздался голос с озера.

Жихарь умолк. Я оглянулся. Из воды выбирались Анжелка, Ленка и Шурик. Только теперь я увидел, что они были полностью голые. Приметив меня, Шурик и Ленка стали одеваться, Анжела, ничуть не смущаясь, походкой манекенщицы подошла к костру.

— Ну, что, москвич, нравлось? Видел ты таких, как я?

— Оденься, простудишься, — сказал, смеясь, Жихарь.

— Ой, Жихарь, чо ты как позорный! — отвечала девица. — Дай покрасоваться. Ты чего, москвич, молчишь? Язык, что ли, прикусил от удовольствия? Или тебе ещё рано такую эротику смотреть? Хочешь, твоя буду? Ах, ты, мой умненький, скромненький!

Она подседа ко мне на корточках и погладила меня по щеке ледяной и влажной русалочьей ладонью.

— Дорогая, — сказал я, изображая голосом покойного Брежнева. — Немедленно прекратите своё тлетворное влияние.

— И правда, чего я перед тобой выкобеливаюсь, — отхлынула она. — Ты, небось, партийный, раз журналист. Тебя на партсобрании ругать будут. Эх, что ж такое — ну, совсем не холодно! А голой-то как хорошо!

Она подбежала к озеру и стала поднимать брызги, едва касаясь поверхности воды кончиками пальцев ног.

— В общем, вломили мы им тогда по первое число, — продолжал Жихарь. — И пёс его знает — как, но только из наших никто особо не постра-

дал, так только: кому губу разбили, кому зуб поломали, кто палец свернул, одному только Серёжке как следует досталось. Мы когда их вышерли, вернулись на танцплощадку, смотрим, он лежит на боку весь в крови, рубашка разодрана, на плече рана от велосипедной цепи. Кровища — струёй, как из фонтана. Сразу понеслись в поликлинику, и прямо как судьба: в тот вечер Кира была дежурной медсестрой. Ох, и разозлила же она меня, как только её увидел! “Ты, — говорю, — во всём виновата, от твоих хахалей Серёжка пострадал”. Но она, правда, молодец, — ловко так перетянула жгутом, чтоб кровища не хлестала, забинтовала. А красивая, стерва, в белом халате, в белой шапочке... Серёжка белый, как снег, губы посинели — много крови потерял. Вызвали машину из Люберец. Кире с врачихой работёнки много в тот вечер досталось — кому чего вправить или перевязать, йодом прижечь. Как на фронте...

— Это ты что рассказываешь, как тогда с покровскими подрались? — подойдя, спросила уже одетая Лена. — Тогда воще, прям и не знаю, такое было! Мы все обалдели.

— Отдынь! — сказал ей Жихарь и продолжал:

— Короче, Серёжку увезли в больницу. У него вдобавок сильное сотрясение мозга оказалось. Тут уж в Кирке совесть проснулась — стала ездить к нему в Люберецы, даже возила кой-что из продуктов. Не знаю, какие у них там, в больнице, были разговоры, только когда Серёжку выписали, они стали чаще появляться вместе, встречаться. Но точно, что ещё ничего такого не было — так только, по-пионерски. Он совсем дёрганный стал, худой, как смерть.

Эта последняя в жизни Лалакина осень стала для него самой счастливой. Их отношения с Кирой были на подъёме, Кира поняла, что Серёжка не такая уж заурядная личность: он умел видеть красивое не так, как другие, умел быть преданным всему, что его восхищало. И вот она даже стала иногда чувствовать, что скучает по нему, если они долго не встречаются. Однажды ей вдруг стало просто необходимо увидеть его, и она пошла к нему. Открыв дверь, он страшно удивился, испугался даже — не случилось ли что?

— Нет, всё в порядке, — сказала она. — Просто захотелось посмотреть, как ты живёшь.

Лалакин был не один. У него в гостях сидел Дёма, только что они оживлённо беседовали о чём-то. Кира согласилась выпить чашку чаю, но вдруг поняла, что Серёжка и его гость не совсем трезвы, ей стало неприятно.

— Нет, я, пожалуй, лучше пойду, — сказала она.

— Кира, — вдруг резко сказал Лалакин, — вот сейчас, при Юрке, я хочу сказать тебе: будь моей женой.

— Ты с ума сошёл, — сказала Кира испуганно.

— Нет, я прошу немедленного ответа! — Взгляд Лалакина сделался угрюмым. На столе горела свеча — он вообще любил зажигать свечи, говорил, что нет ничего красивее горящей свечи. — Смотри, я буду держать вот так руку, пока ты не согласишься стать моей женой.

Он положил ладонь на кончик пламени, стиснул зубы, скулы его заходили желваками. Ожидалось, что Кира бросится к нему, схватит за руку, отведёт ладонь Лалакина от свечи. Но её реакция оказалась противоположной — Кира вся выпрямилась, нижняя губа её стала жёсткой, глаза сверкнули, брови вздёрнулись. Она смотрела на жест Лалакина с холодным презрением. И молчала. Сильно запахло палёным мясом, лицо Лалакина напряглось и побелело. Кожа на ладони стала, обгорая, потрескивать. Ещё секунда, и Лалакин не выдержал — вскрикнул и отдёргнул руку.

— Всё? — спросила Кира холодно. — Правую не будешь жечь?

— Вот змея! — воскликнул Демин.

— Так вот, Серёженька, я никогда не буду твоей женой после этого. Слышишь? Никогда.

Она повернулась и ушла. Лалакин скорчился над ладонью и застонал от боли и обиды. Боже, ведь она сказала “после этого”, значит, “до этого” она уже думала о возможности замужества? Неужели он всё испортил? Только в эту секунду он увидел, каким дешёвым был его жест.

Весть о лалакинском аутодафе мгновенно распространилась по всем Липам. Такое случается не часто. И особенно обсуждалась реакция той, в честь кого аутодафе совершалось. Молодёжь была восхищена поступком Лалакина — это казалось таким романтическим и столь бесспорно доказывающим истинное чувство. Пропасть между хорошим отношением общественности к Лалакину и плохим к Кире сделалась ещё на несколько метров глубже. Ну, и Кира, ну, и бессердечная же тварь!

В Лалакине боролись два чувства. С одной стороны, слава о его самоотверженном поступке грела его самолюбие, с другой — он понимал, что Кира неспроста именно так отреагировала на сжигание руки, что она права и поступок отдавал чем-то дешёвым и ненастоящим, а потому непорядочным по отношению к реальному чувству к Кире, которым Лалакин так дорожил и гордился. Вряд ли он мог и хотел трезво оценить, в какой мере его любовь была им самим раздута, сколько в ней было фальши. Но, во всяком случае, он впервые неосознанно столкнулся с наличием этой фальши, проявившейся в сожжении руки. Ему хотелось как можно быстрее от неё избавиться, потому что она, тоже неосознанно, пугала его.

Кира не хотела его видеть. Несколько раз он пытался объяснить, убедить её, что он признаёт свой поступок дешёвым и глупым, но она молча шла мимо, а он стоял, глядя ей вслед, с нелепым выражением лица и нелепой повязкой на левой руке. И люди видели эти сцены и ещё больше ненавидели Киру, а Серёжу — жалели.

Вскоре ещё один удар постиг Лалакина. Однажды он и Жихарь стояли на автобусной остановке, Лалакин ждал, пока придёт электричка, чтобы не вести в Садово-Дачное полупустой автобус. Вдруг подошла Кира. Глаза её были полны гнева.

— Серёжа, — сказала она. — Зачем ты так поступаешь со мной?

— Как? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Зачем ты издеваешься надо мной? Что я тебе плохого сделала? Разве я виновата, что не подыгрываю твоему болезненному самолюбию?

— О чём ты говоришь? Чем я издеваюсь? Тем, что люблю тебя? — бормотал Лалакин, ничуть, однако, не смущаясь объясняться в любви при Жихаре. А Жихарь и не думал отходить при этом куда-нибудь в сторонку. Он стоял руки в боки и с явной неприязнью смотрел на Киру.

— Я прошу тебя немедленно снять мою фотографию со стекла. Какая я дура, что подарила её тебе! Как ты можешь говорить о какой-то любви? Ты только красуешься ею! По-твоему, это любовь, когда всем напоказ? Неужели ты не можешь прилепить себе на стекло что-нибудь другое — футбольную команду, какую-нибудь бабу из журнала мод? Ведь это не стыдно, а моя фотография — стыдно!

— Да отдай ты ей её, что ты унижаешься, — сказал Жихарь. — Другая б рада была, а эта...

Пришла электричка, повалил дачный народ, автобус стал заполняться. Лалакин залез в свою кабину, отлепил от лобового стекла фотографию Киры, повредив при этом один уголок, спрятал её и объявил в микрофон: “Автобус отправляется, следующая остановка — улица Шоссейная”.

Сцена у автобуса подействовала на Лалакина. Он перестал при любом удобном случае выставлять напоказ свою сердечную привязанность. Он, правда, не удержался, чтобы не спеть на танцульках и в компании несколько песен, посвящённых Кире, — всё-таки он не мог допустить мысли, что народ забудет о наличии в Липах безнадёжно влюблённого романсера, столь уникального в процентном отношении к остальному, не ведающему любви, населению.

Каким-то образом известие об огромной корзине роз, которую Кира обнаружила однажды утром под своим окном, стремительно стало достоянием гласности. Для юношей и девушек подмосковного посёлка Липы песня Аллы Пугачёвой “Миллион алых роз” наполнилась особенным смыслом, тесно связанным с историей края. Нетрудно представить себе во всех подробностях мемориальный музей, посвящённый истории любовных страданий молодого Лалакина.

Зал первый — “Зал Изначального Образа”: на стенах фотографии из фильма Дзеффирелли, любительские, мутные, отснятые в кинозале, коварный Тибальд (Майкл Йорк), источающая счастливую трагедию любви Джульетта (Оливия Хасси), тихо льётся песня на английском языке — “Что такое юноша? Беспокойный огонь? Что такое девушка? Глаза и желание, на котором зиждется мир?..” Джульетта в склепе, Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов на балу у Ростовых... Пожалуй, достаточно.

Зал второй — “Рождение Любви”: девятиклассник Сергей Лалакин, десятиклассница Кира Февралёва, грамоты, аттестаты зрелости — пятёрочный её и четвёрочный его. Кирино школьное платье, белый фартук. Новая, почти нетронутая — вот какой он был аккуратист! — синяя школьная форма Сергея; никто не догадается, что она фиктивная — настоящую-то Серёжкина мама давно уже использовала на мытьё полов. Благородный и в то же время очень чувственный дневник Лалакина, сделанный по заказу музея каким-то журналистом из Москвы. Зарождение чувства описано тщательно и поэтапно. “Молния, исходящая из её глаз, озарила всю мою душу”, “Уж и не помню, которую ночь подряд я не могу сомкнуть глаза”, “Нет, я не решаюсь подойти к ней. Что я? Мне кажется, сама любовь моя к ней недостойна её удивительного облика”.

Зал третий — “Любовь Явленная”: макет дома Киры с фрагментами заокольного леса, деревья имитируются с помощью веточек туи, красной стрелочкой обозначено место, откуда Лалакин совершал ежевечерние наблюдения за объектом своей страсти. Время от времени в крохотном окошечке дома загорается лампочка, сеанс окончен. В этом же зале среди прочих экспонатов — чучело бородатого мужчины, для пущей убедительности табличка: “Выполнено по заказу Министерства здравоохранения СССР. Подлинник”. На самом деле это, разумеется, не подлинник — подлинник бережно хранится в спецфонде вместе с недорогим, но ценным колечком о трёх изумрудиках.

Четвёртый зал — “Суровые Испытания”: полный комплект музыкальной аппаратуры, солдатская шинель, пробитая стрелой Эрота, армейские письма, антрацитно-чёрная стагуетка дьявольского мотоциклиста, выполненная мастерами каслинского литья; велосипедная цепь, для устрашения несколько увеличенная в размерах; обломок челюсти покровского агрессора; полотно художника студии Грекова, на котором изображен критический эпизод битвы в парке культуры “Молодость”; на другой картине запечатлена перевязка раненых липовцев — окровавленные бинты, искажённые болью и мужеством лица, Кира, аллегорически светловолосая, с милосердием во взгляде; в этом же зале — лицевая часть автобуса “Липы-Садово-Дачное” с фотографией Киры на лобовом стекле.

Зал пятый — “Святая Святых”, вход по особым билетам, выдаваемым исключительно общественными организациями, иностранные делегации проходят вне очереди, дети до шестнадцати лет не допускаются. Перед вошедшим посетителем — фрагмент стены Кирино дома, под окном — корзина, полная роз. Обойдя стену, мы оказываемся в комнате Киры. В зале полумрак, на стуле горит вечный огонь свечи, сильно пахнет французскими духами “Ша нуар”. Альков. Средневековая кровать с балдахином и резными из красного дерева турченятами, сидящими на столбиках по углам. Что происходит под огромным одеялом, лишь угадывается...

“Зал Подвига” — на стене надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, множество цветов, приспущенные знамена, почётный караул из лучших активистов посёлка Липы, макет скорого поезда “Москва-Алма-Ата”, на стенде — баллончик с нитрокраской, фотографии — платформа станции Липы, мать героя, место захоронения на Покровском кладбище. Иногда в этом зале можно увидеться с живым свидетелем, Николаем Ивановичем Жихаревым, который охотно расскажет вам, что произошло утром в воскресенье, 11 июля:

— Сам понимаешь, в каком он был состоянии. Такой облом... У меня были припасены два пузыря, мы их выдули у меня — я, Серёжка и Дёма. Ночью ему не сиделось — пошли бродить по Липам, хотели податься с кем-нибудь, Серёга орал так, что душа надрывалась: “Жить не хочу! Жить не хочу!” Под утро протрезвели, а в башке — мрак. Тут он и говорит: “Това-

рищи вы мои хорошие, помогите исполнить задуманное”. Мы его стали отговаривать. Он ни в какую. Тут Дёма и говорит: “Я бы тоже так сделал, пусть ей, суке, на всю жизнь укор останется”. У меня как раз оказался баллончик с краской — я гитару собирался перекрашивать. Как рассвело, вышли... Эх, тяжело рассказывать! Там у нас ничего не осталось? Вон бутылка. Жаль... На платформе никого народу не было — воскресенье, утро. Я до последнего не верил, что он это сделает. Минут десять ни одного поезда. Вдруг — едет. Нас так и колотит. А он — спокойный. Обнялся с нами. Открыл баллончик, стал писать. Последние буквы прямо под носом поезда, мог и не успеть. Я уже хотел сказать: “Завязывай!” А он и сиганул... Так уж велика была любовь. Мы глазам не поверили. А Дёма даже удивился: “Ни фига, — говорит, — себе!” Полезли Серёжку искать. Его метров на десять отбросило. Под платформой лежал. Ботинки с обеих ног почему-то соскочили. Ни царапинки.

— Так уж и ни царапинки?

— Ни царапинки! Лежит такой спокойный. И мёртвый. Ну, а дальше — чего уж рассказывать. Хоронили его чуть ли не всем посёлком. Дали клятву — Кире не жить! Пусть только сунется в Липы. Потом, правда, когда она приезжала на материны похороны, мы её не тронули. Я к ней после поминок зашёл и говорю: “В двадцать четыре часа. И чтоб духу твоего не было. Дом продай”.

— Скверно, — сказал я. — Страшная история. А ты, Жихарь, и Дёма, оба вы подлецы.

— Все дураки, — сказала Анжела. Она, уже одетая, сидела рядом с нами у костра.

— Ты что, москвич, офонарел? — сказала Ленка. — Почему это они подлецы?

— Да уж не знаю, такими уродились, должно быть, — отвечал я, почему-то не решаясь сказать, что и Лалакин тоже подлец. — Подло сопроводить приятеля на глупую добровольную смерть. Ещё хуже — не иметь в себе смелости признать, что это подло — устраивать помпу вокруг ошибочного поступка человека, доведённого до истерики, петь хвалебные песни ему и угрозы в адрес якобы виновницы смерти. Вы больше повинны в том, что Лалакин в могиле. Ты, Жихарь, в первую очередь.

Все молчали, глядя на затухающее пламя костра.

— Что притихли? — сказал я. — Хотите, подброшу гениальную идею? Довольно вашему “Лепрозорию” пробавляться мелким жанром. Творчески вы уже готовы к тому, чтобы создать грандиозное произведение — рок-оперу “Будь счастлива, Кира” наподобие “Иисус Христос Суперзвезда”. Здорово можно покуражиться. Господи, ну вас к лешему! Ничего вы не понимаете.

— Ни хрена себе! — сказала Ленка. — Это ты ни хрена не понимаешь. Тоже мне, прокурор с красным подбором нашёлся!

— Да, — сказал Жихарь. — Обидел ты нас всех. Мы тебе всё начистоту, без фуфла, а ты... То ли ты и впрямь чего-то не понимаешь, то ли зря мы тебя пригтели.

— Вон Светка чапает, — сказала Анжела.

Действительно, вдалеке показалась фигурка Светы. Она спускалась с холма к озеру. Я представил себе, что мы с Жихарем сейчас ещё сценимся, Света ползет разнимать. Повторение ведёт к идиотизму.

— Ладно, — сказал я, поднимаясь. — Может, я и впрямь недопонимаю, какой смысл в вашем фарсе. А может, и вам стоит кое о чём задуматься. Если обидел, можете сердиться, дело ваше. Но я сказал то, что думал. *Без фуфла*. Счастливо оставаться.

Я решительно направился в лес, вышел на ту тропу, которая ведёт к Тихорецкой улице. Не доходя немного до окраины посёлка, свернул чуть-чуть вправо и попытался хотя бы приблизительно найти то место за деревьями, откуда Лалакин наблюдал за домом Кире. Может быть, вот отсюда? Здесь тебя никто не видит, а дом как на ладони — и крыльцо, и калитка, и два окна, одно из которых, по-видимому, Кирино. Вот сейчас там зажжётся свет...

Вдруг я увидел, что там действительно будто бы тускло-тускло мерцает что-то. То ли сумерки и моя возбуждённая психика обманывали меня?.. Я быстро вышел из-за деревьев, почти подбежал к дому и, оглянувшись по сторонам — нет ли кого-нибудь? — перемахнул через забор. Подойдя к заколоченному окну, заглянул в щель между досками. В комнате Киры по стенам блуждали блики — где-то, явно в закрытом для глаза месте, горела свеча.

— Серёжа! — вдруг окликнули... Меня? Лалакина? Сердце моё заколотилось. Я оглянулся. Из лесу вышла Света. Того только не хватало, чтоб она застала меня здесь! Я спрятался за кустом шиповника. Слава Богу, она не видела меня. Рыская глазами, прошла мимо калитки, внимательно осмотрела дом Киры и пошла дальше, вверх по Тихорецкой улице.

Обождав пару минут, я снова устремился к окну, но на сей раз, сколько ни старался, не мог разглядеть никаких бликов, никакой свечи, ничего. Полный мрак. Что это было? Мираж? Галлюцинация? Таинственное преломление какого-то небесного мерцания, на миг залетевшее в комнату Киры Февралёвой?

Усталый, еле волоча ноги, я побрёл на другой конец посёлка, на Чистый Просек. Со Светой мы благополучно разминулись.

Небо уже совсем стало бледным, до рассвета оставалось не больше часа. Придя домой, я сразу лёг спать, но спал очень плохо — в постель ко мне забралась какая-то букашка, в полусне я никак не мог её отыскать и выкинуть. Потом комната наполнилась ярким солнцем, а у меня не было сил подняться и задернуть штору. Я заболел. Меня колотил озноб, в три ручья лил пот. В полдень я кое-как проснулся с воспалённой головой, всё тело ныло и чесалось, в груди поселилась твёрдая простудная боль. Мысли мои были ужасны, история самоубийства Лалакина, как омерзительное чудовище, копошилась в моей голове, когтистыми лапами скребла черепную коробку, ощупывала язык, скользко переползала в грудную клетку, барахталась под рёбрами. Не в силах встать с постели, я иногда задрёмывал, но тотчас в ужасе пробуждался — мне мерещилось, что моя погибшая жена ходит по комнате и снова хочет ругаться со мной, как это бывало в последний год перед нашим разводом и её смертью. В какой-то миг на меня дохнуло чем-то светлым и лёгким, словно кто-то провёл мне по лицу успокаивающей ладонью. Я очутился в струе сна чистого, незагрязнённого, справа и слева покачивался толстый слой слизистых мёртвых медуз, но плыл я по чистой дорожке, а когда она кончилась и дохлые медузьи лепёшки стали липнуть к телу, я проснулся и нашёл в себе силы, чтобы сбросить одеяло и встать.

Шатаясь от слабости, я с мучением оделся и вышел из своего флигелька. Любовь Никитична возилась в огороде. Я дошёл, поздоровался и спросил, не найдётся ли у неё мёда или малинового варенья.

— Никак, заболел?

— Знобит. Кажется, есть температура.

— Голубчик, простыл! У меня клюква есть протёртая — мне так лучше всего помогает. Пойдём-ка. Сейчас тебя напою, как рукой снимет. Вот бедато, и без жены остался, некому ухаживать.

Она усадила меня на своей кухне, заботливо укутала клетчатым пледом, заставила надеть толстые белые носки из собачьей шерсти, налила гигантскую, должно быть, на пол-литра, чашу крепкого чая, обильно сдобрив его протёртой с сахаром клюквой. От одной её заботы мне стало значительно легче. Так уютно было сидеть на хозяйской кухне во всём тёплом и пить вкуснейший чай.

— Любовь Никитична, помните, мы как-то говорили с вами про Киру Февралёву? Вы сказали, что она с тех пор, как Лалакин убился, так и не появлялась в Липах. А ведь она появлялась. Когда мать приезжала хоронить.

— Чего-то тебе Кира не даёт покою?

— Я вообще впечатлительный. Прямо не идёт из головы эта история.

— Да уж, одно слово — история. Не приведи Бог таких ещё историй. Срам-то какой! Тьфу, прости господи!

— А отчего умерла Кирина мама?

— Шут её знает. Умерла и всё. В одночасье. Говорят, в огороде брякнулась и не встала. Нашли уже мёртвую. Грех плохо про покойников говорить, но женщина она была поганая. И не наших кровей — не то турчанка, не то гречка, волос чёрный, на лицо тёмная. Кира по масти в мать была, только светлее чутку. Имя у ней было наше — Анастасия, а отчество чудное — Илларионовна.

— Что ж в нём чудного? Первый русский писатель был митрополит Иларион.

— Как это? Митрополит — и писатель? Не может быть.

— Честное слово.

— А разве ж не Пушкин первый?

— Пушкин гораздо позднее.

— Вон оно что. Что ж он написал, тот Иларион?

— “Слово о Законе и Благодати”.

— Ишь ты! Должно, хороший был поп. Из хороших.

— Но вообще-то Илларион — имя греческого происхождения.

— Вот я и говорю, что Кирина мать была не то гречка, не то турчанка. А отец, Ванька Февралёв, — наш, липовский. Она-то его и сжила со свету. Он после войны, почитай, совсем без родни остался, поехал туда-сюда за подработком, а вернулся с женой. Откуда-то с Азова привёз её. Новороссийск на Азове находится?

— Нет, на Чёрном море.

— Сдаётся мне, вроде бы из Новороссийска он её приволок. Году эдак в пятьдесят пятом. Дом заново отстроил. Хороший мужик был. Мы с ним с одного года. Я в двадцать шестом родилась. На фронте воевал. Пришёл с фронта — видный, работающий. А ни одна ему в Липах не глянулась. Поехал за тридевять земель искать. И нашёл на свою голову. Она у нас так и не прижилась, всё косо на всех смотрела. Ни закону, ни благодати... Не знаю, правда или нет, но, говорят, словно бы она пришепётывала.

— Это как? Картавила?

— Да не картавила. Пришепётывала — наговаривала, корешки-травки по лесу собирала. Мороку делала. Вот Ивана-то попервоначалу присушила, чтоб он её там подобрал и сюда привёз, а потом сама же и уморила.

— Да зачем же?

— А спроси у неё, зачем. Что не её породы, вот зачем. На вид она была ничего, как в индийских кинах, но в глазах бестия какая-то, нехорошее что-то. Сперва устроилась продавщицей в продмаге. Так поверишь — кого и обвесит, никто слова не мог сказать, будто языки отсыхали. Потом как-то устроилась в Люберцы бухгалтершей. У меня с ней один случай был. Иду я как-то мимо Чёрного пруда — там, в лесу, у нас Чёрный пруд есть, может, знаешь уже — смотрю, стоит она и на воду смотрит. Странно так. “Ты чего это, — говорю, — Настасья? Не плохо тебе?” Она же мне отвечает: “Ты шла мимо и иди своей дорогой. А то, гляди, с тобой что-нибудь нехорошее сделается”. А сама даже лица ко мне не оборотила — так всё и смотрит на воду. А вода-то там чёрная, оттого и пруд Чёрным называется. Я как ошпаренная отступилась от неё, отошла подальше, да и давай бежать со всех ног, сама всё крещусь, хотя в Бога не верю, да ещё и молитву вспомнила: “Господи, — говорю, — не приведи во искушение да избавь от лукавого!” Шоссе перебежала, чуть под грузовик не угодила. И как раз Серёжки Лалакина отец ехал, Петруха. Притормозил. А меня жуть взяла. “Петро, — говорю, — доведи до дому”. “Чего это, — он мне, — на тебе лица нет?” Я ему и рассказала...

Я снова стал чувствовать себя хуже. Как только Любовь Никитична заговорила о матери Киры, чудовище лалакинской истории проснулось и вновь закопошилось во мне. В висках застучало, мозг заволкло пеленой. Голос Любви Никитичны уже доносился словно бы не со стороны, а звучал во мне. В памяти всплыл вечерний лесной пруд, захламлённый гнилыми досками и ржавым железом, мимо которого я проходил в тот день, когда избили дачных хиппи. Кажется, уж давно это было, а всего-то во вторник, четыре дня назад. Словно наяву представилось мне смуглое лицо Анастасии и что-то нехорошее, тёмное в нём. Я отшатнулся тогда и побежал прочь.

— А года три спустя Иван Февралёв наступил на ржавый гвоздь и умер от заражения крови. А там, кто его знает, от чего он на самом деле умер...

Мне стало невмоготу.

— Да ну, Любовь Никитична, предрассудки всё это. Знаете что, пойду-ка я на боковицкого и устрою храповицкого. Жар у меня, кажется. Надо прилечь. Спасибо за чай.

— Иди, голубчик. Носки не снимай — собачья шерсть, она самый нагрёв даёт.

На ватных ногах я добрёл до своего флигелька и зарылся в постель. Меня трясло, зубы клацали, мысли кружились на карусели вокруг дурацкой игры слов: выпили чайковского и на боковицкого, а на душе скрябин и паганини, вот ведь лажечников какой со мной приключился, приключевский... Кто там ещё из великих, выдающихся, видных на следующей карусельной коняжке? Носки из шерсти сабашниковых? В носу апчехов ер-ни-ча... Апчхи! Будьте здоровы, Сергей Михалч! Спасибочко, Сергей Михалч! Что это вы припотели, голубчик? Эдакий эжен-потье с вами произошёл. А мусоргского-то сколько в комнате! Что ж супруга-то ваша не следит? Да я, знаете ли, абшид от неё получил, отставочку, значит. Одинёшенек. А годы проходят, все лучшие годы... Ладно, не ной, тоже мне, Ной нашёлся. А есть что-то забавное в этом состоянии. Жар. Жалко, градусника нет — Цельсий был бы доволен. Интересно, какой там год у меня под мышкой? Тридцать восьмой? Тридцать девятый? Сорока втиснулись? Только бы не сорок первый... В груди ломит так, будто все годы туда втиснулись со всем скарбом: революция; кровавая чекистская гадина; эсесерия, пожравшая Россию; баржи, битком набитые пленными белогвардейцами, идущие ко дну Белого моря, и пароходик с умилёнными совписателями на Беломорканале; Бухенвальд в двух шагах от веймарского Патриарха, советские спортсмены, победители олимпиады — интересно, что с ними потом стало, ведь им не то Гитлер, не то Геббельс медали на шею вешали... Какая тебе олимпиада, дурень! Наших там не было!..

— Сергей, а Сергей! Что, совсем худо тебе?

— Любовь Никитична... Который час?

— Стемнело уже. Горячий-то какой! Давай-ка температуру смеряем.

— Да, пожалуйста, у вас ведь есть градусник. Интересно всё-таки, какой там год.

Если немцы на подступах к Москве, ещё ничего, какое-нибудь безбидное воспаление лёгких, а если рвутся к Сталинграду, то не иначе как ящур подцепил, когда со Светой целовался. Обидно — всего от одного почти невинного поцелуя!

— Вытаскивай градусник-то, уже пора.

— Разве? Только что поставили.

— Какой только что! Уже двадцать минут держишь.

Сорок и пять. Примерно июнь сорокового. Немцы оккупировали Францию.

— Любовь Никитична, включите, пожалуйста, телевизор.

— Лежи ты, горе! Пойду врача вызывать.

— Я совершенно здоров.

Всё-таки, уходя, включила. Я выпростался из-под одеяла и стал смотреть футбол. Мне было на диво хорошо. Никакого потовыделения, сухо, жарко. Глаза мои полны были голубого сияния, в котором уже шло дополнительное время. Легкоплавкие, как воск, футболисты охотно сливались друг с другом, надолго приклеивались к полю, вымаливая штрафной или хотя бы жёлтую карточку, а в целом все вместе волокли ничью к финальному свистку судьи. А теперь уже я сам — футбольное поле, мяч скачет по мне, но как-то слишком медленно. Прилипнет, долго лежит, потом подпрыгивает, приземляется в другом месте. А, понимаю, с детства знакомая игра. Называется “дышите — не дышите”. Аут. Перевернитесь на спину, второй тайм. Финальный свисток арбитра сопровождается прохладительной инъекцией. Трибуны пустеют, спускается вечер, гаснут огни прожекторов. Небо над футбольной ареной полно звёзд...

Откроешь глаза — солнце, так и жжёт всё внутри. Откроешь в другой раз — пасмурно, грудь напрочь заложена облаками. Форточка стучит от

ветра. Из уха в ухо что-то шумно перетекает. Это дождь. Батюшки, уже снова вечер!

— Сергей, поесть надо что-нибудь.

— Потом, потом... Налейте мне в блюдечко из громокипящего кубка, товарищ Геба! Полети на небо, принеси мне хлеба.

— Сергей, давай-ка куриного бульончика. Нельзя так — вторые сутки без пищи.

— Любовь Никитична, вы, знаете, кто? Вы — мать милосердия.

— Слава Богу, посл. Теперь таблетки.

— А что это? Всё льёт? Какой сегодня по счёту день потопа? Не видно ещё горы Арарат?

— Лежи, Арарат! Давай-ка температуру сменяем...

Сестра милосердия, Матерь Божья, смилуйся надо мною, останови воды многие...

— С добрым утром! Получше сегодня?

— Гораздо лучше. Спасибо вам, Любовь Никитична.

— Не за что. Сейчас завтрак принесу.

— А какой сегодня день? Дождь кончился?

— Кончился, но — тучи. Вторник. Ты хоть знаешь, что у тебя воспаление лёгких?

— А сегодня? Среда? Опять дождик?

— Среда. Целый день моросит. Пойдём, помогу дойти. Укутывайся хорошенько. Не легче в груди? Подействовал компресс?

Компресс подействовал хорошо, а вот ночью опять температура и бред. В четверг мне опять стало хуже, и я уныло уверял Любовь Никитичну, что четверг — день Юпитера, потому и тучи, и дождь, и гром. Ничего удивительного, так и должно быть. На то и громовержец.

В пятницу я пришёл в себя. Светило солнце. Болезнь немного отхлынула, и вновь полезли в голову неприятные мысли о моём разрыве с женой и о дурацкой истории Лалакина.

Я пытался отвлечься, но всё зря — к вечеру тяжёлые воспоминания и параллельные им раздумья над липовским несчастьем до предела воспалили мой мозг, неминуемо стала повышаться температура, навалился бред, забытьё.

Утром в субботу я проснулся во влажной от пота постели. Болезнь владела мною в той же мере, как и неделю назад, когда она ещё только начиналась. Я лежал и злился на своё холодное и ослабевшее тело, такое непримечательное к сочному солнечному утру, пению птиц, зелени листвы, запахам лета.

— Здравствуйте, Любовь Никитична! — вдруг услышал я знакомый голос, вселивший в меня надежду на радость.

— Са-аша! — откликнулась Любовь Никитична. — Сколько лет, сколько зим. Решил проведать своего товарища? А он вот уже неделю с воспалением лёгких лежит.

— Что вы говорите! Ну-ка, где он там?

Сашка, мой старый приятель, как вовремя он приехал! Он увидел меня, опухшего от болезни, всклокоченного, жалкого, стал говорить что-то весёлое, бодрое, сменил подо мной прокишную от пота постель, приготовил роскошный обед — укроп, петрушка, кинза, помидоры, лук, огурцы, молодая картошка, отбивные, а на десерт — клубника и черешня. После обеда, помыв посуду и сделав в моём флигельке влажную уборку, во время которой я сидел во дворе, укутанный в три пледа, Сашка снова уложил меня в чистую постель, сбежал куда-то, но вскоре вернулся с одолженными у кого-то шахматами. Мы сыграли три долгих, неторопливых партии, из которых одну я проиграл, несмотря на Сашкины предостережения:

— Серёж, ферзя ведь съем... Ну, ты что, так ведь мат через два хода...

Две других мы свели к добротным ничьим: в первом случае Сашкин король спасся патом, во втором мы остались при королях и разноцветных сло-

нах. Потом я немного вздремнул, а после ужина меня неотвратимо потянуло рассказать Сашке обо всём, что со мной случилось и что я узнал в Липах.

Оказалось, он лишь в общих чертах знает историю надписи “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” и никогда не интересовался, а уж тем более, не заболел ею, как я. Он внимательно меня слушал, лишь изредка удивляясь моей настырности в желании узнать подробности истории Лалакина и Киры Февралёвой, а когда я принимался бредить, он заботливо укрывал меня одеялом и старался не перечить моей бредятине.

— Сашка, — говорил я ему, — ты не представляешь, каким это оказалось для меня важным... Снег идёт такой мягкий, мокрый, всё вокруг тихо... Мы ничего не знаем, ничего, только смехотворно узенькую тропинку, по которой успеваем проползти за свою маленькую жизнь, как улитки, оставшиеся без раковин... Скажи, ведь там, на могиле Клавдии Фоминичны Одноровой, сидит мраморный ангел?

— А куда ж он денется? — отвечал Сашка. — Сидит себе как миленький. Серёжка, поспи немного. Завтра будет лучше.

— Санечка, как хорошо, что ты приехал! У меня ноги на дне колодца... Если придёт Жихарь, пусти его ко мне, мне надо ещё с ним поговорить. Ладно?

— Ладно. Не беспокойся.

— “Меж скорбно-умных лиц и блещущих речей шутов Веласкеса и дураков Шекспира” ...Сань, мне надо с тобой всерьёз... Ведь это ты меня опрокинул сюда, в Липы... Знаешь что... Умоляю, разыщи Киру Февралёву!.. Пусть она придет сюда, я хочу купить у неё её дом. Обещаешь? Я хочу видеть её, у меня к ней какая-то странная привязанность. Мы должны с ней встретиться. Пожалуйста, Санечка! Обещаешь?

— Обещаю.

— Даешь слово?

— Даю.

— Спасибо тебе. Я знал, что ты меня выручишь. Поезжай прямо сейчас и найди её. Хорошо?

— Договорились.

Он ушёл в кухню, где у него была приготовлена выданная Любовью Никитичной раскладушка, и лёг. Некоторое время он ещё слушал моё бормотанье, пока, наконец, мы оба не уснули.

На другой день я проснулся от холода. Погода опять испортилась, за окном было серо, накрапывал дождь. Но я чувствовал в себе такой свежий прилив сил, что даже эта сырая прохлада была мне мила.

— Ну, вот и слава Богу, — сказал Сашка. — Теперь уже пора поправляться. Сегодня вечером будем финал смотреть.

Днём мы опять играли в шахматы. Сашка — так себе игрок, и я, вошедши в силу, всё время его обыгрывал. Вечером смотрели последний репортаж с чемпионата мира. На другой день Сашка уехал, а я стал медленно выздоравливать. К концу недели у меня перестала подсакивать температура, и в воскресенье я устроил торжественные проводы болезни — сбрил отросшие за две недели усы и бороду, сделал пробную вылазку в лес, нашёл на тропинке крепенький подберёзовик. С понедельника я снова начал вести здоровый образ жизни. Утром загорал на озере, днём работал над “Комментариями”, после обеда полтора часа спал, вечером снова ходил на озеро купаться и загорать. Вот уже второй месяц я жил в Липах, но теперь, после болезни, мне казалось будто всё внове, будто всё, что происходило до болезни, вообще случилось в прошлом году и ныне уже никак не подстерегает меня. Вместе с выздоровлением организма пришло душевное спокойствие, я старался не думать ни об утраченном семейном счастье, ни о своем одиночестве, ни о самоубийстве Лалакина. И у меня это получалось. Я больше не жаждал контактов с обитателями посёлка и не мечтал о встрече с загадочной Кирой Февралёвой. Хорошо, что Сашка не был столь всемогущим, чтобы и впрямь найти её и доставить ко мне. Стояли хорошие солнечные деньки, я получал ровно столько загара, сколько могло подарить мне подмосковное

светило. Мне хорошо работалось, я уже заканчивал первую главу “Комментариев”. Два раза ездил в Москву поработать в Румянцевской библиотеке, а возвращаясь в Липы, испытывал светлое чувство свободы и полноты бытия. Иногда я видел знакомые лица — барабанщика Игоряшу, русалку Анжелу, мрачного Фофана, — но удачно избегал встреч с ними.

Так прошло четыре дня.

На пятый день, возвращаясь с озера, я увидел странную процессию, перетекающую с улицы Советской на площадь перед станцией. Человек тридцать или сорок несли множество цветов, в середине шли с простыми гитарами музыканты рок-группы “Лепрозорий” и пели песню “Будь счастлива, Кира”. Рядом траурным шагом шествовали и многие мои знакомые — Фофан, Света, Анжелка, Ленка, Вовик, Шурик, Иришка, В-лера, Люська и прочая, прочая, прочая. Я вспомнил, что сегодня одиннадцатое июля — день самоубийства Лалакина, очередная годовщина. Всё моё казавшееся таким прочным спокойствие вмиг куда-то исчезло. Я стоял возле станции, поминальная процессия двигалась в мою сторону, и я уже полностью зависел от неё, не мог двинуться с места ни вправо, ни влево, поток накатывался на меня, и вот я уже спускаюсь вместе с этими людьми в подземный переход, я принадлежу им, они сдержанно принимают меня, Света спрашивает, где я пропал, и я покорно отвечаю, что болел. Она рада меня видеть, хотя пытается делать вид, будто я ей безразличен. Все воодушевлены, поют новую песню о Лалакине, о настоящей любви, которая погибла, но всё равно жива. Все выплёскиваются из подземного перехода на свет платформы, особенно сильно пахнет карамелью, солнце стекает на запад. Становимся кругом возле надписи “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”. Жихарь произносит речь. Начинается торжественное обновление надписи. Свежей краской, белой на зелёном фоне стены — барабанное Б, угловатое У, домашнее Д, прилипчивый Ъ, серпом свистящее С, в числе заключённое Ч, архангельски белое А... Трое липарей пинками и оплеухами отгоняют прочь любопытного парня, только что приехавшего на московской электричке. Подходит милиционер, интересуется, в чём дело, ему объясняют, он недоволен, но не вмешивается. Снова свистит С, тугое поставлено Т, липою пахнет Л, игриво кривится И, важное выпльлю В, ещё один ангел А пред запятою встал...

Какие возбуждённые лица, словно каждый из них причащается святого таинства надписи, совершает обрядовое прыганье под скорый поезд. Одна из девушек в восторге плачет. Снова поют песню, насыщенную угрозами в адрес Киры. Песня приурочивается к последней стадии обновления надписи — крепко сколоченное К, искромётно-игривое И, громоподобное Р, третье, последнее, пламенно-белое А.

Все садятся в электричку. Пассажиры в недоумении осматривают огромную толпу, множество цветов; предположения сводятся к одному — выпускники какие-нибудь. Гитары звенят, льётся песня:

*Мимо Лип мчатся поезда,
Все бегут, бегут туда-сюда,
Вот и ты проходишь стороною,
Что ж тогда останется со мною?
Вечная сердечная беда...*

В Покровке все выходят и пешком идут до кладбища. Траурный ход. Долгота пути несколько развеивает тягостную сосредоточенность мыслей на трагедии Лалакина. Света, например, взяв меня под руку, вспоминает, как мы напугались с ней тогда, смеётся, потом поёт никак не относящуюся к случаю песню про айсберг в океане, все заботы которого под тёмною водой. Славная девушка! Вот и Покровский храм, спускаемся в рощу под холмом, идём мимо Лыковых, Матюшиных, Головиных, Йоргена Францевича Фосса, Клавдии Фоминичны Одношворовой, мимо колодца. Наконец, могила Лалакина. Скромный букетик цветов, должно быть, от матери. Анютины глазки. Могила затопляется принесёнными цветами — микровысоцкий на микрова-

ганькове. Виноватая улыбка, рубашка в клетку. Снова речи, песни. Я предлагаю присвоить имя Лалакина автобусному парку и не встречаю поддержки. Правда, Жихарь напоминает всем, что я журналист, нарочно приехавший из Москвы, чтобы написать о Лалакине статью. С кладбища выходим в оранжевом свете заката. Группа покровских парней нерешительно осматривает нас — нет, всё-таки не стоит, слишком большая орава.

На обратном пути мне совсем плохо — меня по-хозяйски похлопывают по плечам, как будто они хорошо мне заплатили за предстоящую статью, и я полностью в их подчинении. Им приятно.

Липы. Все выходят. Каким-то образом я оказываюсь сзади всей оравы липарей. Я должен сбежать, иначе мне крышка, теперь я уже не просто заболел — я умру. Вот сейчас самое время. Я подхожу к двери электрички и останавливаюсь, не делаю шаг из вагона. Света оборачивается, в глазах её растерянность. Нет, я ничего не могу поделать, она уйдёт с ними. Двери закрываются. Поезд трогается. Спасён!

В изнеможении я плюхнулся на свободную скамейку и проехал даже не одну, а три остановки. Вышел на платформе 47-го километра, побродил там, пока солнце не скрылось за горизонтом, и тогда только осмелился вернуться в Липы.

Смеркалось. Из парка культуры “Молодость” долетали звуки рок-группы “Лепрозорий”. Я пошёл в сторону озера, вышел на Тихорещкую улицу, спустился по ней и вдруг замер от неожиданности — Кира Февралёва вошла в калитку своего дома. Я сразу узнал её. Смуглая, тёмные волны волос, прямая осанка. На ней было белое хлопчатое платье с погончиками, на ногах — белые босоножки на низеньких каблучках. Она была налегке, без сумки — значит, ненадолго.

Кира прошла по тропинке к крыльцу, стала подниматься в дом. Я подбежал к калитке и окликнул её:

— Кира!

Она оглянулась, удивлённо посмотрела на меня. Я вошёл в калитку и приблизился. Она не была удивительной красавицей, черты лица её находились даже в какой-то дисгармонии — несколько долговатая переносица, нижняя губа уже, чем верхняя, глаза не такие уж большие, но очень выразительные, отчего и создавалось впечатление их большой величины. Красивые руки, изящные пальцы. Тонкая талия, красивые бёдра, но довольно широкие плечи.

— Здравствуйте, — сказал я. — Не удивляйтесь, что я вас знаю. Я живу в Липах уже второй месяц, и мне говорили, что ваш дом сдаётся.

— Это ошибка, — ответила она. У неё был слабый, женственный голос, “ш” чуть-чуть переходило в “ф”. — Дом не сдаётся, он продаётся. Вы ведь не станете его покупать?

— Нет, к сожалению, — сказал я.

— Почему же к сожалению?

— Мне он очень понравился.

— Разве в нём есть что-то особенное?

— Есть что-то. Я иногда забирался сюда и совершенно незаконно разгуливал вокруг него, даже сидел вон там, на скамейке. Один раз мне показало, что в доме горит свеча.

— И напрасно, — сказала она, подёрнув плечами, и стала открывать дверь.

— Кира, я должен предостеречь вас от опасности, — сказал я.

— Только давайте пройдем внутрь. Мне не хочется, чтобы меня видели.

Я оглянулся по сторонам. Кажется, никого не было. Мы вошли в дом. Прихожая, служившая одновременно и кухней, была довольно захламлена, на вешалке висели старые плащи и пальто, около надтреснутой печурки валялись пыльные календари и тетради. В комнате Киры стояли лишь три стула, стол и кровать.

— Господи, — вздохнула Кира, — мне так хотелось побыть здесь сегодня одной.

— Простите, — сказал я. — Но это небезопасно.

— Откуда вы знаете?

— Я встречался с друзьями Лалакина. Сегодня они ходили возлагать цветы на его могилу. Настроены очень агрессивно. Вы слышали песню “Будь счастлива, Кира”, которую они поют?

— Что они могут сделать?

— Всё, что угодно. Они очень злы на вас.

— Вы здесь на лето снимаете?

— Да.

— Из Москвы?

— Да.

— Как вас зовут?

— Простите, что не представился. Сергей.

— Почему же вы не разделяете их злости? Ведь она так естественна.

— Она отвратительна. Так же, как отвратительно самоубийство Лалакина и его надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”.

— Не рубите сплеча. Ведь вы ничего не знаете. Что вы можете знать, если никто толком ничего не знает.

— Мне и незачем знать. Я — лицо совершенно постороннее, у меня своих дел по горло. Но я единственный человек, который может здесь встать на вашу защиту. Если, конечно, понадобится.

— Что ж, это другое дело, — сказала она. — Вы совершенно бескорыстно решили сделаться моим стражем? Как благородно! Только что-то не верится. Давайте присядем, что мы стоим? Вы же не собираетесь осматривать помещение, раз не хотите покупать дом.

Мы сели на стулья друг напротив друга. В комнате было темно, но на столе всё-таки стояла оплывшая свечка, и я зажёл её. В мерцании свечи я увидел совсем другую Киру, чем там, у крыльца, в сумерках, Лалакин очень любил свечи. Вот так он когда-то любовался Кирой и говорил себе: “Люблю... Люблю...”

— Итак, — сказала она. — Чего же вы хотите взамен за ваше бескорыстие?

— Чего хочу? — произнёс я. — Да, собственно, мне и нечего хотеть. Я и так сполна всё получил.

— Не понимаю.

— Понять очень легко. Мне нужно было развеять тоску, скуку. Бросаться под поезда я не умею и не люблю. А здесь — простите за цинизм, но ведь я лицо постороннее! — здесь я выудил из этой истории под названием “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” всё, что мне было необходимо: сначала я отвлёкся, потом убедил себя в том, что мне до ужаса любопытно, я погружался в ад местных нравов, а потом приходил к вашему дому, и мне становилось легко, каким-то образом ваш дом оказывал на меня некое магическое, целебное действие. Правда, в конце концов, я довёл себя до истерики и заболел. Но опять-таки, будучи здоровым человеком, не сошёл с ума, и болезнь моя выразилась в обычном воспалении лёгких, на которое легко было списать любой бред. В общем, теперь между моим собственным несчастьем и сегодняшним днём стоит довольно твёрдая стена — приключение, хотя и в некоторой степени мрачное.

— Вы потеряли любимого человека?

— Это не имеет значения.

— Понятно. В общих чертах понятно.

Глядя на неё, я невольно задумался, смог ли бы я полюбить эту женщину? Внутренне я волновался, но можно ли было принять это волнение за скрытую любовную тягу? Едва ли.

— Что же будем делать? — спросила Кира.

— Я не знаю, это зависит от того, что вы собирались делать, приезжая сюда.

— Я собиралась всего лишь провести здесь ночь, а завтра утром побывать на могиле у Серёжи и вернуться в Москву.

Она не называла его Лалакиным. Это было трогательно.

— Вас ждёт муж?
— Меня ждут.
— Извините. Если вам претит моё присутствие, я мог бы посидеть на кухне или на втором этаже — там ведь, кажется, есть комната?
— Вам будет скучно.
— Ничуть. Мне приятно в вашем доме. Я уже говорил.
— Оставайтесь тут. Судя по всему, у вас нет никаких дурацких намерений.
— Можно курить?
— Курите. Только не прикуривайте от свечки. У вас нет спичек? Сейчас я принесу с кухни.

Она встала, прошла в кухню. Я походил по комнате, выглянул в окно — сумерки уже совсем загустели. Открыл форточку. Интересно, видно ли с улицы, что в комнате горит свеча? Кира вернулась без спичек.

— Всё-таки придется от свечки. Подождите-ка, а как же вы свечу зажигали?

— Оставалась последняя спичка.

— Ну, значит, от свечки. Плохая примета.

— У меня сейчас ложное воспоминание: кажется, что я уже сидел так когда-то. Это было знакомство ненадолго, ожидание завтрашнего утра, а впереди целая ночь, заброшенное жильё... Кстати, вам ведь надо поспать.

— Вам тоже.

— Я подежурю.

— Неужели вы думаете...

— Уверен. Сегодня они будут куролесить, наверняка заглянут и сюда.

Я бы предложил погасить свечку, но вы ещё не так меня поймёте...

— Не нужно гасить. В темноте как-то совсем убого. А и правда, мы в каком-то странном положении.

С улицы донеслись голоса. Я быстро вышел в прихожую и выглянул в окно — отсюда видна была вся улица. По ней проходили двое старичков. Я вернулся. Встревоженный взгляд Киры говорил о том, что и ей передалось моё ожидание липарей.

— Господи, этот дом просто предназначен для ожидания чего-то ужасного, — сказала она. — Мне кажется, живя здесь, я всегда чувствовала себя так же, как сейчас. Как вы думаете, когда они могут заявиться?

— Скорее всего, в ближайшие полчаса-час. Это при условии, что кто-то из них видел, как вы от станции шли к дому. Вы заметили кого-нибудь на станции или около?

— Кажется, никого из знакомых.

— Кира, вам лучше уехать сейчас. Я провожу вас до Москвы.

— Нет. Не хочу. Неужели человек не может в кои веки побыть в своём доме? Если что-то и случится — пусть. Значит, такова судьба. За свою жизнь я уже привыкла ждать плохих завершений. И получать их. Потерплю и в этот раз... И всё-таки, почему вы здесь?

— Почему я здесь?... Просто с тех пор, как я услышал о вас и всё, что про вас рассказывают в Липах, я мечтал увидеть, какая вы. Скажите, вы, правда, Кира Февралёва?

— Вы что, сомневаетесь?

— Немного.

— Так я и не Кира Февралёва.

— Кто же вы в таком случае?

— Будем знакомы, молодой человек. Меня зовут Кира Никанорова.

— Ах, вот оно что. Фамилия мужа. А кто ваш муж?

— Он? Он уже не муж мне. Мы расстались. Иногда мне кажется, что его и не было вовсе. Как и меня для него. Были только образы, стереотипы желаемого, которые быстро развеялись в прах. А познать то, что оказалось за этими образами, — может быть, гораздо более ценное, — на это нас не хватило. Фу, зачем вам знать это!

— Значит, сбегав из Лип, вы тоже не нашли счастья?

— Нет, я была счастлива. Правда, недолго. Но разве счастье — главное? Никакое счастье не стоит того, чтобы его покупать ценой человеческой жизни.

— Да ладно вам! Вы сами прекрасно понимаете, что не виноваты в смерти Лалакина.

— Я, я виновата!..

— У вас традиционный русский комплекс раскаяния. В смерти этого человека повинен он сам. И его дружки.

— Вы ничего не понимаете. Виновата я, моё желание счастья, такое естественное для любого человека. И такое преступное. Я знала, что он висит на волоске, и не должна была подпускать его к себе. Наша близость с Серёжей с самого начала была далека от реализма. Я позволила ему быть рядом со мной в наказание за его самолюбие. Считала, что только я имею право на самолюбие, и щекотала своё самолюбие этим волоском, на котором повис влюблённый в меня человек... Ох, как не хочется это вспоминать!.. Где там обещанная народная расправа?

— Имейте терпение. Выгребают последний порох из пороховниц. Думаю, ещё полчаса, и они придут. Свет свечи не очень заметен с улицы.

Я подошёл к окну, выглянул сквозь щель между досками, прибитыми снаружи. Уже была ночь. Эти доски — тоже какая-то защита. Плохонькая — но крепостёнка.

— Представьте себе, что мы с вами в средневековом замке, — сказал я. — Ждём нападения взбунтовавшейся черни. Мы оказались неласковыми феодалами, и нас решили сковырнуть.

— Я бы согласилась — пусть бы пришла чернь и убила бы нас с вами, только бы это и впрямь был средневековый замок. Вы знаете, было время, когда я мечтала об одном — умереть в великолепии...

В ту последнюю для Лалакина осень Киру Февралёву всё чаще стали посещать странные мечты. Она думала: мне уже двадцать два года, а в жизни так до сих пор и не случилось ничего, достойного меня, моего появления на свет. Всё было не так. Люди, которые меня любили, вели себя по отношению ко мне идиотски — другого и слова-то не подберёшь. Просто идиотски. Я хотела любви, и она приходила, но как! Вспоминать о ней стыдно, мерзко... Неужели так вся жизнь пройдёт? Нет, лучше умереть.

Но ведь нельзя умереть просто, так же бесславно, как проходила её жизнь! И она стала мечтать о необычной, пышной смерти. Смерти в облике прекрасной бледной дамы, одетой в дорогие чёрные одежды. В роскошном дворце идёт пир, гремит музыка, все танцуют, и она в центре бала, десятки влюблённых глаз неотступно следят за ней, ожидая знака внимания. Они ждут, надеются. Но она знает, что это её последний бал. Близится полночь. С каждой минутой дыхание королевы бала всё взволнованней. Сегодня должно сбыться предсказание — она умрёт в самую счастливую минуту своей жизни. И эта минута наступила. Вот он, её избранник, самый достойный из всех её кавалеров, подходит к ней и приглашает на следующий танец. Полночь всё ближе. Она танцует с любимым, и он шепчет ей слова признаний. Заветная и роковая минута. Слышится первый удар башенных часов. В зале среди присутствующих появляется красивая дама в чёрном, но её никто не замечает, кроме Киры, но явление чёрной дамы не страшит её, потому что Кира безумно счастлива. Вот оно, счастье! Так вот оно какое! Когда не чувствуешь своего тела, когда вся превращаешься в аромат и кружишься по зале в объятиях возлюбленного. Часы бьют во второй раз. Чёрная дама медленно направилась к ней. Третий удар. Любимый так нежно прижимает к себе Киру за талию. Как он хорош! Четвёртый удар. Дама приближается. Всё вокруг кружится быстрее и быстрее, счастливее и счастливее. Пятый удар. Менуэт должен был бы кончиться, но все уже обратили внимание на счастливую пару, и музыканты без перерыва играют снова. Шестой удар. Дама всё ближе. Сердце стучит всё сильнее. “Вы любите меня?” — спрашивает он. Седьмой удар. “Да, я люблю вас”, — отвечает она. Восьмой. Чёрная дама уже совсем близко. Лицо её торжественно светится. Девятый удар. “Вы согласны стать моей женой?” Десятый. Женой! Что это значит? Хорошо ли это? Согласна ли она? Часы бьют в одиннадцатый раз. Женой любимого. Это значит — Вселенная распахнулась и душа летит в вечное сияние. Она кива-

ет: “Да”. Двенадцатый удар. Чёрная дама исчезает. Королева бала падает бездыханно. Все в ужасе! Мерт-ва! Паника! Но она уже далека от всего этого — она летит ввысь...

— Серёжа, ты боишься смерти? — спросила она однажды у Лалакина. Они шли по берегу Тихорецкого озера, плавно кружились листья. Кира была задумчива и задала свой вопрос после долгого молчания. Лалакин вздрогнул.

— Нет, — сказал он. — Раньше страшно боялся. Когда был маленьким. Когда думал о ней, в желудке щекотало. А теперь думаю о ней совершенно спокойно, словно её и нет вовсе.

— Но ведь страшно умирать, когда ещё ничего не было в жизни. Поэтому дети её так боятся.

— Страшно умирать, если знаешь, что за ней — пустота.

— А ты думаешь, что что-то есть за ней?

— Не может не быть.

— А как же материализм?

— Но ведь существует закон сохранения энергии.

Ей нравилось, что он так спокойно рассуждает о смерти. Точно так же спокойно расставалась с жизнью лета природа. Роняя листья, леса становились светлее. Было что-то радостное в этом холодном свете осени, всё больше овладевающим пространствами.

Их встречи стали частыми. Лалакину удалось, наконец, ухватить ту интонацию в разговорах, которая нравилась Кире, — без порывов, спокойно, с лёгким налётом печали. К концу ноября Кира уже не помнила об идиотизме сожжения руки и фотографии на стекле автобуса. В середине декабря, когда уже лёгкой марлей лежал снег, они ездили в одно из воскресений в Сергиев Посад. Дул холодный ветер, Кира забыла дома перчатки, и Лалакин осмелился взять её ладони в свои, чтобы согреть. Тут она заметила шрам от ожога на его ладони и в краткий миг жалости поднесла его ладонь к своим губам. Он было обнял её, но миг кончился, Кира ускользнула из его объятий, и они ещё немного погуляли по Троице-Сергиевой лавре, словно ничего не случилось.

Перед самым Новым годом Лалакин три дня где-то пропадал. Вечером тридцать первого он пришёл к Кире, как год назад, с подарком — большим флаконом французских духов. Как и год назад, Кира уговорила мать встретить Новый год у родственников. Ждала, что, может быть, в этот раз произойдёт что-то необычное. Лалакин пришёл в половине одиннадцатого, и Кира с удивлением отметила, что ей приятно его поздравление. Ей понравился запах духов.

— Дивный! — сказала она. — Такой благородно-чёрный запах. Я бы хотела, чтоб, когда я буду умирать, был этот запах.

Кроме духов он принёс шампанское и с десяток баночек дорогих консервов. Апельсины, малиново-красные яблоки, большой набор шоколадных конфет. Стоял посреди комнаты с растерянным видом и улыбался тому, что ей понравился подарок.

— Что же ты не снимаешь пальто? — сказала Кира. — Или тебя ждут?

— А ты разве не ждёшь гостей? — спросил он, глядя на покрытый белоснежной скатертью стол.

— Нет, я собиралась встретить Новый год одна. Если хочешь, мы можем встретить его вместе.

Какое это было счастье для него! Они стали вместе накрывать на стол, потом он долго сидел один на кухне, пока Кира наряжалась в длинное тёмно-синее платье и не могла решить, уложить ли ей как-нибудь волосы или оставить так — вольным облаком. Без десяти двенадцать они выпили по бокалу шампанского за старый год. Потом Кира захотела танцевать, включила вальсы Шопена, и они закружились по комнате, а когда из приглушённого телевизора стали доноситься куранты, будто откуда-то издали, Лалакин было разомкнул уже объятия, чтобы снова подойти к столу, но Кира сказала:

— Нет-нет, танцуй. Так хорошо. Так никогда ещё не было.

После одиннадцатого удара она, глядя куда-то в сторону, притянулась лицом к его лицу, и он, не веря своему счастью, стал целовать её в губы.

Кира смотрела в сторону и видела иные картины, мысленно шепча: “Приходи, приходи, смерть”.

Потом она отстранилась, села на кровать и попросила шампанского. Неверной рукою он пролил на скатерть пену из обоих бокалов, а когда подавал ей её бокал, она произнесла:

— Мне хорошо. Ты не обидишься, если я попрошу тебя сейчас уйти? Я хочу побыть одна.

Он не обиделся. С готовностью, выпив залпом шампанское, он исчез, кое-как набросив пальто, унося в руках шарф и шапку.

Оставшись одна, Кира упала навзничь в кровать и долго лежала без движения, почти роняя из руки пустой бокал, другую руку держа на груди. Она представляла себя Офелией с картины Милле. Потом медленно встала, прошлась по комнате в сиянии свечей, глядя в зеркало, как хорошо ей в тёмно-синем платье. Выключила телевизор и проигрыватель, игла которого вот уже несколько минут, с недоумением отскакивая, стучалась о тупик последней бороздки. Стало тихо. Так тихо, что она отчётливо услышала скрип снега под шагами за окном. У Киры пылали щёки, и так приятно было распахнуть настежь окно. В квадрате оконного света стоял Лалакин. Кира поманила его к себе, и он мигом забрался в окно. Она прижалась пылающим лицом к онеженному воротнику его пальто, сбросила с его головы шапку, покрыла лицо его поцелуям.

Случилось то, чего не должно было случиться. В первых сумерках рассвета Кира проснулась и увидела на полу пальто, шарф и шапку Сергея, на стульях — его одежду и своё измятое тёмно-синее платье, на столе — почти не тронутый новогодний ужин, в воздухе реял запах шпротов, гусиного паштета и балыка. Одна свеча уже потухла, две другие догорали, почти не нужные в сумерках утра. Она не могла повернуть голову и посмотреть на человека, лежащего рядом с нею. И тогда вообразила, что она — замужняя женщина, русская, но муж её — английский посол. Добрый старик, он поддался её прихоти и привёз сюда, в деревенскую избу. Спит себе в соседней комнате, намаываясь бродить по глубокому российскому снегу, и не подозревает, что жена его ночью тайком принимала любовника — русского парня, до безумия влюблённого в неё, ездившего за ними по пятам и, наконец, этой ночью пробравшегося в окно её спальни. Это изба охотника. Там, в прихожей, висит множество ружей и охотничьих ножей. Чудится ей, что муж тихо крадётся. Всё ближе и ближе. Медленно открывается дверь, и он, старый ревнивец, входит с ружьём в её спальню. Сколько секунд остаётся до смерти? Пять? Шесть? Две? Она будит своего возлюбленного, прижимает его лицо к своему, этот поцелуй — самое сладостное из всего, что ей довелось испытать в жизни, он уносит её в вечность; вот сейчас прозвучит выстрел из обоих стволов, вот сейчас...

На долю секунды Кире удалось испытать это счастье, отдавшись поцелую Лалакина, крепко зажмурив глаза и почувствовав затылком холод стволов ружья, направленных на любовников. Бедный Лалакин тогда ещё ни на волосок не догадывался, с кем на самом деле целуется в эту минуту Кира. Он ошалел от счастья. Он не спал всю ночь, слушая рядом дыхание любимой, а когда медленно стало светать, внимательно наблюдал явление из темноты каждой новой чёрточки её лица. И что он должен был испытать, когда, едва проснувшись, Кира тотчас же потянулась к нему губами, отдаваясь во власть его поцелуев и объятий!

Но грозный ревнивец не стоял в дверях спальни с заряженным картечью ружьём, и они остались живы. Днём они катались на лыжах, и Лалакин, весело забегая далеко вперёд, то и дело возвращался к Кире, с надеждой глядя в её лицо — не хочет ли она, чтобы он её поцеловал? Кира была задумчива. До самого последнего дня своей жизни Лалакин будет помнить эту её задумчивость, под знаком которой и прошли все лучшие его дни с нею.

— Коль уж вы такой исследователь главного события в жизни Лип, я скажу вам одну штуку о наших отношениях с Серёжей. Ничем другим не удовлетворю вашего любопытства, а это — пожалуйста: я никогда не была

с ним собою, и он никогда не был для меня Серёжей Лалакиным. Он был лишь соучастником моей игры. Я всё время воображала себе какую-нибудь удивительную, щекотливую историю. Вот, например, я лыжница, была сильная метель, я отбилась от своих, с кем была в походе, долго плутала по бесконечному лесу, как вдруг мне повстречался какой-то охотник, красивый, но угрюмый, молчаливый, сильный. Не говоря ни слова, он ведёт меня куда-то. Я не знаю, куда. Может быть, он спасёт меня, а может, хочет овладеть мною и убить. Но он мне нравится, и я иду за ним, не исключено, что на верную гибель... Или другое: я одалиска, он мой возлюбленный, пробравшийся в гарем, рискуя своей и моей жизнью. Или что-нибудь ещё в этом роде... Когда-то я любила одного человека, иногда я тосковала по нему и воображала, что со мной не Серёжа, а он. Но тоже не такой, каким он был на самом деле, а такой, каким я его себе представляла и каким могла любить. Вот и всё. А когда моя способность фантазировать и видеть не то, что есть в действительности, ослабевала, я видела, что это Серёжа, и не могла быть с ним рядом. В таких случаях мы подолгу не виделись. Потом снова начиналась игра. И всегда постоянным условием её была близость смерти. Если бы не эта игра, я бы не выжила. Ведь тогда было самое несчастное время в моей жизни. Вот и всё.

Итак, мрачный, хмурым охотник. Долго они идут по лесу, мороз, снег скрипит под лыжами. Она следует по свежей, только что проторённой охотником лыжне и мучается неведением — кто она, пленница? Наконец, они возвращаются в Липы, в её дом, но это не Липы и не её дом, вообще нет никакого посёлка, а лишь занесённая снегом избушка охотника. Он разводит в печурке огонь, они вместе греются, едят подстреленного им глухаря, всё молча. Она благодарит его, но он не понимает её языка, и тогда, чтобы он понял, что она благодарит его, она подходит к нему и целует его в щёку. Он обнимает её, сажает к себе на колени, ласкает, она задыхается в его объятиях, ей хорошо и страшно. На плече у охотника огромный шрам. Должно быть, это след медвежьих когтей. Она прижимается к шраму губами...

Зимней ночью страшно молодой графине в одиноком имении. Муж уехал по делам в Петербург, а в округе откуда ни возьмись появилась банда повстанцев. Воеет ветер, выюга стучится в окно, и чудится, будто где-то слышны голоса и конский топот, видится, будто где-то далеко — языки пламени, мятежники жгут соседнее поместье. То ли ветер усиливается, то ли топот приближается... В окно стучат! Рамы распахиваются. Нет, это ветер. Надо скорее закрыть окно. Но кто это там стоит под окнами? Она цепенеет, не в силах двинуться с места, а молодой бунтарь уже лезет к ней с острою. Он хочет убить её, но не может — его завораживает её красота. Он бросает оружие и, схватив молодую графиню, начинает жарко целовать её. Она в ужасе, но он так хорош! Она уже не может ему сопротивляться, ей сладко, но ведь он всё равно потом убьёт её...

А вот весна, и запахи весны так необычайно будоражат кровь юной девушки. Такое небывалое чувство. И этот юноша, вот уже третий день стоящий под балконом, почему он так желанен ей? Строгий отец спит за стеной, если он услышит малейший шорох, мигом прибежит сюда. Но она уже не в силах бороться с неведомым искушением и открывает окно, делая знак юноше, что он может проникнуть в её спальню.

Однажды, особенно забывшись в своих фантазиях, Кира назвала Лалакина чужим именем. Это был гром среди ясного неба. Лалакин мигом сообщил, что так звали того, бородатого. А может, и ещё кого-то, кого он не знает. Тогда, в любовную минуту, он будто бы не заметил её оплошности, только ошпаренная душа его туго сжалась. Несколько дней спустя, целуя задумчивую Киру, он ни с того ни с сего осмелился и спросил:

— С кем ты сейчас?

Она вздрогнула:

— Что ты имеешь в виду?

— Но ведь я вижу, что ты не со мной.

— А с кем же?

— С ним. С другим.

— С каким другим? Ты что? — Она засмеялась.

— С тем, которого зовут... — Так трудно было вымолвить это имя. Он собрался с духом и, выдержав паузу, назвал.

— Нет, ты ошибаешься, я не с ним. Я с тобой, — сказала Кира и покраснела, потому что это была неправда.

— Ты всегда с ним, — сказал Лалакин то, что мгновенно осенило его. Вот откуда её вечная задумчивость! — Вот почему ты всегда такая задумчивая.

— Нет, не поэтому. — Кира вдруг помрачнела. Чувство вины быстро превращалось в раздражение — какой приметливый, разве мало ему, что он владеет мной наяву? — Я задумчивая оттого, что жизнь моя никак не меняется. Ты вошёл в мою жизнь, но ничего не переменялось.

— Значит, что я, что другой — тебе безразлично? Ах, ну да, ведь и впрямь безразлично. Ведь я только суррогат.

— Какое мерзкое слово.

— Зато точное.

— Ты говоришь глупости. Не надо. Лучше обними меня. Я с тобой. С тобой, слышишь?

Он спохватился, что гораздо лучше забыть всё, ведь ничего не произошло, Кира не изменяла ему, она — его, пусть ненадолго, но ведь это счастье, которого он ждал целую вечность. Чего же ему ещё?

Разговор оказался лишь прелюдией ко многим другим в будущем. В первые минуты свиданий Лалакин не помнил плохого, но потом ему становилось мало обладать телом Кире, ему хотелось вывернуть её наизнанку и, тщательно проверив, что там, умертвить всё чужое, всё, что ему не принадлежит, утвердить и там своё владычество, пусть такое же временное, как снаружи, ведь, в конце концов, в мире всё временное, но, даже зная о своей недолговечности, люди строят дома и живут в них, теша себя иллюзией надёжности своего жилища. Но там, внутри, в глубине глаз, Кира была недосыгаема, и он всё чаще чувствовал себя оккупантом на чужой территории, угадывающим смуту в непонятных ему разговорах местных жителей. И однажды ночью в бессильной злобе он произнёс, встав с постели и подойдя к окну:

— Господи, как мне иногда хочется убить тебя!

Кира услышала эти слова, будучи уже далеко от поверхности, почти до середины погружившись в сон. И поначалу слова Лалакина прозвучали для неё как дополнение к недавним ласкам; но вот что-то встрепенулось в ней, она открыла глаза и привсталала:

— Что ты сказал?

Он отошёл от окна, задул свечу, пламя которой, приблизившись к основанию, начинало уже метаться из стороны в сторону, и лишь тогда ответил:

— Я говорю, что скоро начнет светать.

— Нет, ты не это сказал, — возразила Кира, ёжась то ли от лёгкого сквозняка, то ли от того, что сон вдруг совершенно пропал. — Ты сказал, что хочешь убить меня. Это правда?

— Нет, неправда, — сказал Лалакин, присаживаясь на кровать.

Они долго молчали. Он смотрел в тёмный угол, она внимательно разглядывала его чёрный силуэт на фоне окна.

— Как бы это было хорошо, — наконец, произнесла Кира.

Он ничего не ответил.

— Ты слышишь, я говорю: как бы это было хорошо, если бы ты и впрямь был способен убить меня. А ты? Способен?

— Не знаю, — был ответ.

— Значит, способен. Серёжа, не сиди так, ложись, обними меня. Я хочу сказать тебе одну вещь. Слушай. Я только теперь начала понимать, что ты в моей жизни — не случайность. Раньше я только догадывалась, сколько в тебе скрыто возможностей. Теперь вижу, что ты гораздо проникательней, чем я думала раньше. Может быть, тебе удалось заглянуть в меня гораздо глубже, чем кому бы то ни было. Я не знаю, зачем я здесь, в этом мире. Чаще всего мне кажется, что это какая-то злая шутка. Словно кто-то подсматривает и посмеивается — сколько я ещё промучаюсь. Но я не всегда была

несчастлива. Я знала много радости и была счастлива, но всегда не тем, что мне отпущено в жизни. А теперь я в кризисе. Меня радует только то, что напоминает о смерти, о моей возможности уйти отсюда. И теперь я знаю, что именно поэтому мы стали... ты стал мне близок.

Кира взяла его руку и крепко стиснула:

— Ты должен убить меня. Мы хорошенько всё продумаем, чтобы против тебя не было никаких улик. Я хочу, понимаешь, я хочу этого. И я хочу, чтобы это сделал именно ты. Я верю, что ты это сделаешь, и потому люблю тебя. Слышишь, я люблю тебя. Ты мужественный человек, ты любишь меня и готов совершить... сделать самое лучшее, что ты можешь для меня. Ты сделаешь это?

Он долго молчал, потом кашлянул, чтобы освободить пересохшее горло, и промолвил:

— Да.

Она безумно засмеялась, и в горячем восторге набросилась на него, и ей никогда ещё не было так хорошо с ним, и это был он, Серёжа Лалакин, но только преображённый: Ангел смерти, снявший себя маску паренька из посёлка Липы. И это был первый и последний раз, когда он был для неё пусть и не пареньком из Лип, но Серёжей. Начиная с той ночи, их свидания обрели вкус действительности — ведь между ними уже была договоренность о смерти, и Кира начала готовиться к совершению намеченного. Особенно хорошо было, когда мать Киры ночевала дома, и свидания проходили тайно, а значит, при обоюдном молчании. Таких свиданий было гораздо больше, и Кира целиком отдавалась во власть своих мрачных мечтаний. Готовилась ли она и впрямь к смерти? Нет, конечно. Но она думала, что готовится, и в объятиях Лалакина представляла себе, что это сама смерть играет с нею, как кот с мышью, — Смерть, влюблённая в свою жертву, ведь смерть должна любить тех, ради кого она существует.

Ей хотелось, чтобы был револьвер.

— Я вообразила, что он должен застрелить меня из револьвера, из такой чёрной машинки, маленькой и тяжёлой. И каждый раз при встрече спрашивала первым делом: “Достал?” Где ж ему было достать его! Бедный, он врал, что уже договорился с кем-то, пыжился, чтобы выглядеть серьёзным. С важным видом говорил, что такие дела быстро не делаются. Наверное, ду- мал, что всё как-то само собой переменится.

Уговор, который никак не мог быть исполнен, давал Лалакину отсрочку. Был май, можно было много гулять, Лалакин ещё в конце апреля начал купаться в озере, когда ещё никто не решался отведать ледяной водички, а в мае по вечерам они плавали вместе, и Кира думала: сколько в нём жизни, как он радуется, барахтаясь в воде, как ребёнок! Нет, ничего не получится... Однажды, обсыхая на берегу после купания, Кира посмотрела на Лалакина и, заметив, что плечи и грудная клетка его стали за эту зиму мужественнее, подумала вдруг отчетливо: “Ведь это я его сделала таким. Видеть его не могу!” А когда он провожал её, она заметила, что какие-то девчонки, шушукаясь, преследуют их.

— Слышишь, это они над нами хихикают, — сказала она. — Какая мерзость! Пойдём быстрее. Как противно. Уже лето, а ты всё ещё не сделал того, что обещал.

После этого они не виделись неделю, хотя договорились встретиться послезавтра. Кира где-то пропадала. Потом, наконец, он встретил её у развалин старой церкви, одну.

— Как ты здесь очутился? — спросила она.

— Никак, просто гулял. Вдруг вижу — ты...

— И отлично. Пойдём сейчас ко мне.

Они шли молча, Кира не отвечала на вопросы. Пока дошли до Тихорецкой улицы, стемнело. Дома никого не было, но Кира попросила Лалакина подождать в прихожей. Минут через пять впустила к себе в комнату. Она видела, как, войдя, он вздрогнул. Всё в комнате было украшено чёрными

шёлковыми лентами, штук десять бархатных подушечек, тоже чёрных, лежали на кровати и в креслах, в зеркале, занавешенном чёрным тюлем, светились отражённое пламя свечи, словно отблеск загробного мира; такой же чёрный тюль обтягивал окно и книжный шкаф.

— Как видишь, я сделала больше, чем ты, — сказала Кира. — Ты достал револьвер?

— Нет, — сказал Лалакин. — Кира, я лучше сам погибну, чем...

— Так вот, — перебила она его, — до тех пор, пока не достанешь, не смей показываться мне на глаза. Вот и всё. Иди.

И он ушёл.

— И что же, — спросил я, — вы действительно собирались всё это проделать?

Кира вздохнула и горестно покачала головой.

— В том-то и дело, что уже нет. Когда я всего этого накупила и украсила комнату, как склеп, я уже пережила свою смерть. Не она меня, а я её похоронила.

— Точнее, не Лалакин вас, а вы — его.

— Точнее — да.

— Что же было потом?

— Потом?.. Потом я вышла замуж. Началась другая жизнь. Встретила одного человека, он увёз меня в Москву, и я вышла за его приятеля.

— А Лалакин?

Кира с трудом понимала, что происходит. Она уезжала из Лип. На неё вдруг обрушилось великолепное лето, полное солнца и зелени. Всё было такое внезапное и радостное. В поликлинике начинался ремонт, пахло свежей краской, всюду стояли стремянки, на полу шуршали перемазанные побелкой газеты. Делая последние уколы и смазывая царапины мазью Вишневского, Кира весело пересмеивалась с травмированными слесарями и подтрунивала над толстыми карамельщиками. Последний день в поликлинике! Наконец, после работы она вышла на свет Божий и сказала: “Прощай, поликлиничка!” И тут увидела Лалакина. Он подошёл к ней, взволнованный и трагический.

— Серёжа! Привет! — весело сказала Кира. — Какой у тебя вид, как будто ты опоздал на прививку.

— Кира, — сказал он торжественно-загробно, — я сделал то, о чём ты меня просила...

— Как! — воскликнул я. — Неужели он достал револьвер?

— Не знаю, — сказала Кира. — С собой у него ничего не было. Он сказал, что револьвер у него хранится в каком-то особенном месте. Я решила, что он врёт. Мне не хотелось выяснять. Я стала извиняться перед ним, говорила что-то глупое, что горжусь им, что он настоящий мужчина. Я даже струсилась. Я была такая подлая в тот момент! Не знала, как выкрутиться, как отвязаться от него. Наконец, призналась, что теперь уже поздно, я передумала умирать.

Он был удивлён. Дальше ещё хуже — я просила его прийти ко мне через два дня и на прощанье поцеловала его, как Иуда. А сама через пару часов уже была в Москве. Вот и всё. А потом он убили.

— Ещё была погоня в день вашего окончательного отъезда.

— Да вы, я гляжу, следователь! Покажите-ка удостоверение!

— Я частный сыщик-любитель. Если хотите, можете больше ничего не рассказывать.

— И не буду. Да, была погоня. Но об этом вовсе уже нет сил вспоминать.

— Пожалуйста, не вспоминайте. Это совсем ни к чему. Ведь я совершенно посторонний человек.

— Хорошо, что не потусторонний.

Всё так же горела свеча, тускло освещающая комнату Киры, и всё так же мы сидели на стульях друг перед другом, только теперь я с каким-то неприятным чувством поглядывал на третий, пустой, стул, мне было не по себе

от его молчаливого присутствия. Будто бы неосознанно почувствовав это, Кира поднялась и зачем-то передвинула стул подальше, в тёмный угол комнаты. Потом она откинула с кровати пыльное покрывало, под которым оказался небольшой плед, и, сбросив с ног босоножки, села на голый матрас кровати, поджав ноги под себя, а колени завернула в плед. Я подумал: вот и всё, скоро начнёт светать, эти гаврики так и не придут на расправу, завтра я провожу Киру до Москвы, и больше мне в Липках делать нечего. Всё, что я мог узнать о надписи “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”, я уже узнал, а оставаться здесь просто так было неприятно.

— А потом произошло самое главное, — вдруг произнесла Кира, глядя на пламя свечи. От неожиданности я почувствовал, как у меня шевельнулись уши.

— Что именно? Самоубийство Сергея?

— Нет. Моя самая последняя встреча с ним. Это было в тот год, в конце лета. Я была влюблена, я уже была невеста. Я шла по улице Горького утром и вдруг каким-то образом почувствовала, что меня кто-то преследует. Знаете, такое иногда бывает. Но ощущение не покидало меня. Я оглянулась и увидела в толпе Серёжу. Он шёл за мной и смотрел на меня. В тот же миг я подумала, что это вроде бы и не он — лицо какое-то чужое, будто Серёжа, но только очень изменившийся, и выше ростом, и одежда такая, какой у Серёжи не было. Я прибавила шагу, и вскоре ощущение преследования исчезло. Сворачивая на Тверской бульвар, я ещё раз оглянулась — его не было. И я решила, что мне померещилось или что просто похож. Ведь у Серёжи было обыкновенное лицо, каких много. Но спустя пару часов я снова увидела его. На сей раз я ехала в такси, таксист остановился у светофора, и тут я вновь почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Он стоял на тротуаре и смотрел именно на меня. Знаете, это было на Садовом кольце, где-то у Смоленки. Моё такси стояло не у самого тротуара, а во втором ряду. Но я всё равно решила выскочить и спросить, что ему от меня надо. Но тут машина поехала, я оглянулась, он глядел мне вслед. И весь остаток дня я была уже в страшном беспокойстве. А уже вечером мы с моим будущим мужем шли по улице... И вдруг я снова увидела его. Он входил в церковь. Я разъярилась. Присутствие моего жениха придало мне храбрости. Я попросила его подождать несколько минут у входа, а сама вошла в церковь. Людей там было не так много, я обошла весь храм, продумывая, как я скажу ему, чтобы он прекратил меня преследовать. Но его нигде не было. Наконец, на меня стали ворчать старушки, что я так разгуливаю по церкви, и я, ничего не понимая, вышла вон.

— Вы утверждаете, что это было в конце лета? — спросил я.

— Да. После этого я его уже не встречала, а осенью я съездила в Липы навестить маму — у меня с ней были тяжёлые отношения, — и только тогда я узнала, что Серёжа покончил с собой вскоре после моего бегства из Лип. То есть получается, что это был не он. Но только это был он.

— Как же так?

— Не знаю. Я ничего не знаю. Может быть, он всё-таки жив?

— Нет, — немного поразмыслив, отвечал я. — Это исключено. Просто вы ошиблись. Вам померещилось. Или уж действительно такое необыкновенное сходство и стечение обстоятельств. А вы не пробовали заходить в ту церковь? Может, двойник Лалакина там служит?

— Поначалу мне хотелось пойти туда, но было страшно. Наконец, я осмелилась, пошла туда и простояла всю службу в ожидании его появления. Страх поначалу сковывал меня, но постепенно стало так хорошо... И я стала время от времени заходить в этот храм. Всякий раз поначалу было страшно, а потом наступало неизъяснимое облегчение. Потом ко мне подошёл молодой священник. Он сказал, что часто видит меня в храме, но никогда не видел, чтобы я исповедовалась и причащалась. Он так просто и хорошо со мной разговаривал, что я впервые в жизни исповедовалась ему. Рассказала многое, почти всё. И потом в течение следующих исповедей поведала всю свою судьбу. Впервые в жизни причастилась. И так стала постоянной прихожанкой этого храма. В который меня привёл Серёжа.

— Но ведь он был тогда уже мёртв!

— И всё-таки мне кажется, что это был он. Он искал меня, хотел мне что-то поведать. Или чтобы я отмолила его. Ведь самоубийство — страшный грех. Может быть, он ещё раз придёт. Хотя уже столько времени прошло, а он с тех пор не появлялся. Я не страшусь тайн. В жизни есть многое, что отпугивает гораздо сильнее, чем нечто вне жизни. Но я не могу избавиться от присутствия Серёжи, как от приуствия вот этого, третьего, пустого стула. Если вам не трудно, отнесите его в прихожую. Хотя нет, не нужно — всё равно я буду знать, что он стоит там.

— Давайте я на него сяду в таком случае, — предложил я, стараясь весёлым тоном развеять внезапно поселившиеся в этой комнате пустые страхи.

— Нет, прошу вас, не надо на него садиться, — воспротивилась Кира. — Пусть он будет покоен.

— Ну, что вы, Кира, — я подошёл к ней и положил ей руку на плечо. — Вы почувствуете свою вину перед ним?

— Да, и с каждым днём всё сильнее. Сядьте вот тут. Можно, я прилягу и положу вам на колени голову? Там есть подушки, но они все такие пыльные.

— Конечно, располагайтесь, как вам удобнее.

Она легла, и теперь её голова была у меня на коленях, я видел её лицо совсем близко. Она закрыла глаза и спросила, который час. Часов у меня не было, но я сказал, что, как только рассветёт, можно будет идти к электричке.

— Видите, — сказала она. — Так никто и не пришёл. Снова никто не пришел меня покарать.

— Никто не придёт вас карать, — сказал я. — И вам не нужно терзать себя. Лалакина вы этим не вернёте, а будете терять многое другое. Вы ни в чём не виноваты. Мы все живём от случая к случаю. Смерть Лалакина — несчастный случай. Его поступок нехорош — ведь он-то именно хотел вас наказать. И причём как жестоко наказать! Вы играли с ним дурно, но он с вами сыграл совсем злую шутку.

— Что ему было делать, если я сама сделала его таким, сама научила играть в дурные игры. Давайте не будем больше об этом. Если я не усну, расскажите мне что-нибудь. Чем вы занимались здесь? Ведь вы же не только разнохивали... Простите, я хотела сказать... А, ладно, как сказала, так и сказала! — не только разнохивали эту историю.

— Нет, не только. Я перенёс здесь воспаление лёгких.

— Поздравляю, отличное занятие вы себе выбрали.

— Ещё я кое-что сочинял.

— Сочиняли? Это интересно. Вы сочинитель?

— Нет вообще-то. Но тут решил кое-что написать.

— Роман?

— Нет, не роман. Некое псевдофилософское эссе.

— Ах, вот оно что. Как называется?

— Название негромкое. “Комментарии к бытию”.

— Имеется в виду — к Библии?

— Не только. Вообще к бытию. Поэтому “Бытие” с маленькой буквы. Так, некоторые бредовые идеи.

— И история Киры послужила вам хорошей иллюстрацией к вашим бредовым идеям? — Она на минуту открыла глаза и лукаво на меня посмотрела.

— Вздремните, — сказал я. — До рассвета ещё часа два.

— Нет, я хочу послушать о ваших бредовых идеях.

— Это очень муторно.

— Ну, хотя бы в двух словах. Ведь я-то много рассказала вам такого, чего в принципе и не должна была рассказывать. Представьте, что мы с вами попутчики в поезде. На рассвете поезд придёт в город Липы, а от Лип мы на электричке поедем в посёлок Москву.

Страсть к воображениям у неё до сих пор не прошла, подумал я. И поймал себя на том, что мысленно продолжил: ночь, мы вдвоём едем в одном купе. Кто я, она не знает. Вдруг я воспользуюсь случаем и, угрожая ей револьвером... Хорошо, что я не сказал ей этого.

— Ну, что ж, представим, что мы попутчики. Поезд едет уже вторые сутки, и мы с вами доболтались до того, что... Короче, до высоких материй. Обсудили семейное положение, поделились автобиографиями...

— Это когда же? — улыбнулась она. — Вы пока о своей автобиографии молчок.

— Ну, допустим. У вас что, плохо с воображением? Вообразите, что поделились. Выказались о политике, об искусстве, о литературе и, наконец, сами не заметив как, добрались до отношения бытия к духу. И заспорили. Я объективный идеалист, а вы — материалист, и причём, поскольку вы женщина, субъективный материалист.

— Такого не бывает, — сказала Кира.

— Ну, не бывает, так не бывает. Это шутка. Просто материалист.

— Нет, я субъективная идеалистка.

— Ну, Бог с вами. Всё равно предмет спора останется. Итак, раз мы оба идеалисты, мы до поры до времени во всём сходились, пока я не предложил вам один фокус. Мы пришли к выводу, что сначала был дух — “Искони бе слово, и слово бе от Бога, и Бог бе слово”, как сказано в Остромировом Евангелии. Дух пребывал веки вечные, слово не имело букв, и не было ни рождений, ни смертей. И вдруг каким-то образом появилась некая маленькая частичка, настолько микроскопичнее кванта, что учёным ещё срок тысяч лет предстоит копаться, чтобы её обнаружить в конце длиннющей цепи. А поскольку Вселенная бесконечна, то и никогда не обнаружить, потому что эта частичка бесконечно мала. Но, тем не менее, это уже частичка, а дух частичек иметь не может. А поскольку и дух бесконечен, и частичка была бесконечно мала, то, имея с частичкой одинаковое качество — бесконечность, — дух не мог её распознать. Появилась она глубоко в недрах духа в качестве некоего исключения из правила, в качестве абсурда, на дурачка. Дай-ка, думает, появлюсь, что будет? И вместо того, чтобы тут же в смущении исчезнуть, она стала наглеть и расти. Что же собой представляла эта частичка? Если бы вы были закоренелым материалистом, вы бы тотчас ответили, что это была всепобеждающая и несокрушимая материя, причём родилась она не в недрах духа, а прежде духа, и лишь потом дух вырос на ней, чтобы она получила возможность саму себя мыслить. Я как идеалист на это только иронически щурюсь, но в первом положении с вами согласен — да, эта частичка есть не что иное, как всепобеждающая и несокрушимая материя. Но второй пункт есть точка моих с материалистом разногласий. Я утверждаю, что дух был прежде этой малышки. И в таком случае она явилась его противоположностью, а точнее — болезнью, поскольку сначала появляется организм, а уже потом — его болезни. Дух сам в себе — явление здоровое. Противоположность здоровья — болезнь. В здоровом организме вселенского духа появилась бесконечно малая раковая клетка, которая тут же начала расти. Бог знает, сколько вечностей она росла, прежде чем смогла обрести свою первую, зыбкую точку отсчёта, прежде чем дух почувствовал первый лёгкий зуд и недомогание. А скорее всего, никакого зуда он не испытывал, и, когда частичка стала величиной с горошину, отношение к ней было такое же, как к доброкачественной опухоли, как к бородавке. Но она продолжала неуклонно расти и стала делиться, распространяться во все стороны. Поскольку мы не знаем, что происходит в иных звёздных системах, обратимся сразу к маленькому осколку той древней малышки — к Земле. То есть к тому участку болезни, который виден нам невооружённым глазом. Отделение суши от моря и все эти древнейшие процессы можно ещё рассматривать как безвредное развитие болезни, нечувствительное. Зуд и недомогание появляются как раз только теперь, с рождением первых живых организмов. Оставим одноклеточные и растения — здесь ещё не очень болит. Посмотрим сразу на рыб и зверей. Они живут, двигаются. Их тела — это маленькие ловушки, с помощью которых материя больно хватается за дух. Это уже маленькие тюрьмы духа. Рождаясь, они берут дух в плен, умирая, отпускают, но за время жизни они успевают наплодить сотню себе подобных, чтобы уже сотней пастей хвататься за дух. Вы ещё не спите?

— Нет, я слушаю, продолжайте.

— Так вот. Умирая, они унавоживают почву и, тем самым, увеличивают количество материи. Что же видит великий дух, находясь внутри этих механизмов? Одни лишь унижения и ужасы. Ему приходится постыдно переносить дрожание плоти, постоянно опасаящейся за свою шкуру. Когда приходит пора размножения, его подстёгивают плёткой, чтобы он немножко спел и очаровал механизм противоположного пола. И так далее. Удобнее сразу же обратиться к человеку. Итак, наконец, появляется человек — самый до сей поры ловкий и изощрённый охотник за духом. Тело человека — сложнейшая камера пыток, в которой душе приходится очень несладко. И чем больше дух бунтует, тем больше страданий ему достаётся. Его бьют и мурьят почём зря, чтобы добиться его смирения. А смирение его наступает тогда, когда он начинает сочувствовать плоти, болеть за неё. Самая страшная пытка для него — совесть. Это его дыба, его испанский сапог. Древнейший человек бессовестен. Но он и самый религиозный. Сейчас уровень религии на нуле. Дух перекладывает свои обязанности на материю. Человек говорит: “Я сам себе судья, и сам себя могу покарать”. Верующий не боится смерти. Человек-сам-по-себе — боится. За всю свою историю человечество практически уже выполнило поставленную перед ним задачу: дух в каждом из нас измельчён и уничтожен. Мы благоговеем перед машиной, потому что она абсолютен плоти. Плоть каждого из нас перестаёт быть достаточна сама по себе и обставляет себя со всех сторон всевозможными приспособлениями. Чем больше утверждается плоть человека, тем меньше остаётся на Земле чудесного, духовного. На участке Земли болезнь сделала свои вышние ставки на человека, и он пока их оправдывает. Хитрыми и алчными глазами Джоконды он смотрит вокруг себя, словно говорит: “Я существую и буду убивать любое светлое пламя, горящее внутри других существ. Я обману всё и вся. Материя божественна? Чепуха! Материя материальна, и в этом её торжество. Чем хуже — тем лучше. Если что-то плохо, дурно — это плохо и дурно с точки зрения души, а не плоти. Смири душу, и ты узнаешь, что всё плохое — прекрасно...”

— Какая-то человеконенавистническая теория, — перебила меня Кира, открыв глаза, но не глядя на меня.

— И да, и нет, — возразил я. — Смотря по тому, что подразумевать под словом “человек” — душу, управляющую машиной нашего тела, или саму машину, несущуюся на всех парах с болтающимся в кабине обесилённым водителем. Второе — мерзость, недостойная имени человека. А первое... Первое — человек бессильный. Гомо фатигабилис — человек устающий. Устающий бороться с механизмом, внутрь которого он заключён. Поутру своей жизни он получает симпатичную игрушку — хорошенькое розовенькое тело, на котором так приятно кататься, — оно бегаёт, прыгает, резвится, просто прелестно! Оно любит развлечения и сладости, глаза дарят человечку краски, мелькание интересностей. Но тело растёт, его надо учить цифрам и буквам. Зачем? А оказывается, затем, что всё дано не даром, оказывается, что человечек уже весь в долгах и за содержание игрушки надо расплачиваться. И чем? Унижением, унижением духа. Настоящие муки начинаются, когда игрушка достигает периода половой зрелости. Машина должна произвести себе подобную, и ради неё дух должен идти на бесчисленные компромиссы. Вы скажете, любовь — это не только продолжение рода, вы не так одноклюби, как восторженные поклонники Зигмунда Фрейда. Да, не только. Дух томится в одиночной камере, ему хочется перестукиваться с соседними заключёнными, знать, каковы они. И тут плоть злорадно хохочет: “Вы хотите быть рядышком? Извольте! Только за это вам уж придётся изрядно для меня расстараться...” Дружба так называемых единомышленников, а тем более совместное существование супружеских пар требуют от души немислимых унижений. Посмотрите на подавляющее большинство человеческих союзов! Как они страдают ради того, чтобы только не разрушились узы! Главное свойство тел — соперничество с себе подобными. А души хотят одного — слияния. Какое нелепое словосочетание: дух соперничества! Духу глубоко чуждо любое соревнование. Он един и прекрасен, но, пленённый плотью, вынужден помогать ей в её соревнованиях. Цель жизни —

борьба, говорим мы. Да, это цель жизни материи, потому что материя стремится к более изощрённым формам, и её излюбленный метод — отбор. При помощи отбора она совершенствуется, чтобы уметь расширять сферу своего воздействия на дух. Дух же брезгливо противится, но единственное, на что он способен, это биться головой о стены своей камеры. Плоть требует благополучия, положения в обществе, возможности размножаться. Дух смиряется, ему кажется, что, уступив однажды, он обретёт успокоение, что плоть оставит его в покое. Но жизнь плоти требует постоянных завоеваний. Сильный дух начинает бунтовать — он уводит тело от благ и обещаний к нищете и одиночеству. Но сколько душ способны победить своё тело и жить в нищете и одиночестве? Жалкие единицы. Сотни бросаются в отшельничество, но надолго ли их хватает? Очень ненадолго. Человек слаб перед своей плотью: она могущественна! Материализм несокрушим! Это болезнь, и болезнь неизлечимая, запущенная, и дух уже не способен изобрести лекарство. Всё напрасно — Моцарт, Андрей Рублёв, Достоевский, все они способны лишь...

— Не надо больше, — вдруг сказала Кира. — Я всё поняла. Мне не хочется дальше слушать. Отвратительный пессимизм!

Я и сам уже чувствовал, что мне не удаётся сказать ей то, что так логично и связано складывалось у меня на компьютере, разбивалось на пункты плана. Разочарованный в своём красноречии, я уныло уставился на пламя свечи, которому уже не так долго оставалось гореть.

Кира закрыла глаза, и я решил, что она уснула, но минут через пять она спросила:

— Скажите, у вас есть жена?

— Нет.

— А почему?

— Она ушла от меня. Причём дважды.

— Как это?

— Сначала она ушла от меня к другому, а потом и вовсе ушла.

— То есть?

— Погибла в автокатастрофе.

— Вот как?

— Её новый муж считал себя превосходным водителем. Он остался в живых, а она получила увечья, несовместимые с жизнью, как принято писать в заключениях о смерти.

— А можно мне задать нескромный вопрос?

— Конечно. Я-то вам задавал их выше крыши.

— Что стало для вас большей трагедией? Её уход или её смерть?

— Если честно... Даже не знаю, как сказать...

— Постойте-постойте, а не вы ли?..

— Ну, уж нет! Я не убийца.

— Точно?

— Когда мы расстались, нас уже ничто не связывало, поверьте. Было только уязвлено моё самолюбие, что не я первый ушёл, а она нашла себе другого. Но когда мы расстались, наступило освобождение, облегчение. Желал ли я счастья ей с новым мужчиной? Положа руку на сердце, нет. Конечно, было бы так благородно желать ей найти своё счастье, но слишком сильны были раны, нанесённые ужасными скандалами. А когда я узнал о её гибели... Тут мне стало действительно жаль её.

— А вы не думали, что могли мысленно убить её?

— Бросьте эти предрассудки. Нет. Нет и нет.

— Ладно тогда. Прячу наручники. К тому же меня клонит в сон. Если вы помолчите, я посиплю совсем чуть-чуть. Хорошо?

— Хорошо. Извините, ради Бога.

Кира закрыла глаза, и спустя несколько минут я понял, что она спит. Я тоже изрядно устал, ноги и поясница гудели. Ещё немного продержавшись в сидячем положении, я осторожно лёг на спину, так, что голова моя втиснулась в угол между спинкой кровати и стеной. Кира тихо и чудесно спала, её голова почти невесомо лежала у меня на коленях. На какой-то миг мне стало хорошо, спокойно и счастливо. И в этот миг я уснул.

Мне приснилось, будто у меня другая жена, мы идём по Птичьему рынку, у нас есть сын, ему уже лет пять — забавный, взъерошенный парнишка, светловолосый и сероглазый. Он тянет нас за руки к каждой продающейся кошке и собаке и каждую просит купить ему. Мы смеёмся. Жена моя такая весёлая, счастливая. Какой-то мужик продаёт с лотка корм для попугаев. У него на лотке большие магазинные весы, и вдруг на эти весы садится белая голубка. Мне интересно, сколько она может весить. Мы подходим ближе и видим, что стрелка весов не отклонилась ни на грамм. Мужику надо взвешивать корм, он хочет прогнать голубку, но вместо “кыш!” с его губ почему-то срывается громкое воронье карканье. Он машет на голубку рукой и продолжает каркать. Голубка испуганно топчется на чаше весов и никак не может взлететь. Мне удивительно, что она нисколько не весит, я говорю об этом жене и тут вижу, что это не жена, а мама моя стоит со мной рядом, а за руку держит меня не мой сын, а я сам, только маленький, пятилетний, в той смешной зимней шапке, которая у меня тогда была. Идёт снег, голубка взлетает и кружится над нами, а мужик уже порядком разозлился на неё, он продолжает махать руками, бегаёт и каркает во всё горло...

Я открыл глаза. За окном каркала ворона. Узкая полоска рассвета на чертиле на стене малиновую полосу. Я лежал навзничь, ощущая у себя на коленях тепло Кириной кудрявой головы, и смотрел на тоненькую полосу рассвета, пересекающую стену. До неё можно было дотянуться рукой и пощупать рассвет ладонью. Прямо в эту полосу был вбит тонкий гвоздик с откушенной головкой, такой тоненький и остренький, что его вряд ли можно было бы заметить в сумерках, если бы не рассветный блик. Может быть, на него Кира прицепила когда-то чёрную шёлковую ленту? Боясь пошевелиться, чтобы не разбудить спящую хозяйку, я долго лежал без движения, разглядывая гвоздик. Наконец, мне стало казаться, что это не гвоздь, а комар. Не стоило никакого труда вообразить, что это именно комар. Приглядевшись внимательно, я с усмешкой заметил, что это и впрямь комар, причём отведавший моей или Кириной крови — брюшко у него было тёмно-малиновое. Я медленно поднял руку, подвёл ладонь поближе к комару и хлопнул. От боли, а пуще от неожиданности, я слегка дёрнулся, — в конце концов, это был всё-таки гвоздик.

Кира проснулась, приподняла голову.

— Светает? — спросила она.

— Да, — сказал я. — Уже можно собираться. Наш поезд подъезжает к Липам.

— Какой поезд? А, поезд...

Отбросив с ног плед, она встала с кровати и подошла к окну. Я тоже мигом поднялся и стал разминаться — ноги у меня изрядно затекли. Кира обернулась ко мне. Лицо её было грустным.

— Знаете, — сказала она, — я жалею, что была с вами вчера так откровенна. И вообще мне вас жалко. У вас внутри какой-то запутанный клубок, вы дёргаете за разные концы, но клубок от этого ещё туже затягивается. Теперь ещё моя верёвочка в него вплелась, вы и за неё дёргаете, и всё без толку.

— Всё без толку... — уныло повторил я.

Она презрительно усмехнулась и вышла из комнаты, гневная и несчастная. С чувством досады я приблизился к окну и выглянул сквозь щель между досками. И просто удивительно, насколько спокойно я отреагировал в первый миг на зрелище подлю и хищно крадущихся к дому липарей. Жихарь и двое каких-то незнакомых мне личностей перелезли через кусты шиповника. Ещё трое прыгивали с забора. Неуклюжий Фофан, сидя на заборе верхом, никак не мог отодрать штанину от какого-то сучка. Семеро!

— Кира! — Я выбежал из комнаты, схватив один из стульев, чтобы было чем обороняться. Она уже услышала топот вокруг дома и с испуганным лицом бросилась мне навстречу из кухни. В окно и в дверь стали ломиться.

— Скорее на второй этаж! — крикнул я. Внутри у меня всё клокотало. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Открывая дверь, Кира оглянулась и вдруг совершенно спокойным голосом промолвила:

— Вот — случай.

— Скорее! — поторопил её я.

“Да у неё там мужик!” — донеслось до моего слуха. Входная дверь трещала. Со скрежетом отрывались доски, которыми было заколочено окно в Кириной комнате. Взорвалось разбитое стекло.

Комната на втором этаже оказалась очень маленькой и захлавленной. Захлопнув дверь, я забаррикадировал её старым, тяжеловесным диваном, из обшивки которого торчали ржавые пружины. Сверху я накатил какой-то металлический бак. Всё, что было в комнате, посыпалось на баррикаду — алюминиевая вешалка для верхней одежды, ведро, пустые горшки для цветов, очень хорош для веса оказавшийся мешок с каким-то белым удобрением, непонятно с какой целью оказавшийся здесь, наверху.

Первый этаж дома был уже захвачен. Оттуда донеслись потоки угроз, сплошь состоящие из мата. Каблуки затопали по лестнице, на дверь нашего жалкого убежища посыпались удары.

— Кира и кто там с тобой, открывайте! — крикнул Жихарь.

Баррикада пока что держалась. Ногой я сильно упирался в железный бак, вдавливая его глубоко в спинку дивана, а над головой я держал в руках прихваченный стул.

— Поднажмём! — крикнули из-за двери, и в течение минуты я с трудом сдерживал натиск. Самое большое, что им удалось, это сдвинуть дверь на два-три сантиметра.

— Эй ты, пиндок! — крикнул Фофан. — Открой дверь. Тебя не тронем!

— Хрен вам! — закричал я. — Попробуйте суньтесь!

— Это ты, что ли, журналист? — узнал меня Жихарь. — Ну, ты даёшь, пацан! Подсуетился! Как там эта сучка? Дала тебе или прокатила?

Я посмотрел на Киру. Она сидела на корточках, прислонившись спиной к стене. Её запрокинутое лицо было бледным, но в то же время каким-то странно светлым и спокойным. Глаза смотрели в потолок. Не то молилась, не то была в шоке. А может быть, звала свою смерть?..

— Ты чего, язык проглотил от удовольствия? — снова раздался голос Жихаря. — Я спрашиваю — перепихнулись вы или нет?

Тут я увидел в дальнем углу внушительного вида гвоздоёр, медленно опустив стул на пол, быстро отбежал от баррикады и подхватил это, к счастью оказавшееся здесь, оружие. Если бы ребяташки в тот миг дружно навалились, заслон бы не выдержал.

— Эй вы, хранители священной надписи на стене! — крикнул я, вернувшись на своё место. — Слышите меня? Дверь вам всё равно не сдвинуть, а если кто-нибудь из вас и сможет просунуть сюда свою морду, я раскрою ему череп ломом. — Страшный смех вырвался из моей груди, как только я выкрикнул это. Ощущая в руке холод смертоносного оружия, я весь дрожал от торжества и ликования брани. — Ну, что молчите? — кричал я. — Жихарь! Ты хоть понимаешь, что это ты убил Лалакина? Эй, Жихарь, помнишь, у Лалакина был револьвер? Он показывал тебе его?

— Я тебе сейчас покажу револьвер, гад! По стенке размажу! — кричал в ответ Жихарь. Дверь затрещала под новым натиском. От каждого удара в ней на миг открывалась щель, и я успевал увидеть их злые рожи. Этот порыв был вдвое сильнее прежнего, и я еле сдерживал его.

— Лёха, Шкет, дуйте через окно, — скомандовал Фофан.

— Сам дуй, — воспротивились Лёха и Шкет. Разногласия в стане врагов дали нам полминуты передышки. Затем дверь снова затрещала.

— Ну, давайте, давайте! — кричал я. — Ещё немного. Ишь, как вы рвётесь к своей смерти! Навались, ребята! Эх, молодцы!

— Спасибо, Серёжа, — донёсся до меня чуть слышный голос Киры. Мне показалось, она сказала это “спасибо” не мне, а Лалакину. В мозгу у меня что-то щёлкнуло от секундного осознания всей дикости ситуации, в которой мы находились. И это ослабило мои силы, диван медленно поплыл, я сканнул на одной ноге, другою продолжая упираться в округлость железного бака. Образовавшийся в двери просвет неуклонно расширялся.

Я стал изготавливаться к нанесению удара первому, кто ринется в дверь. И тут по спине у меня прокатилась какая-то горячая волна. Я невольно оглянулся и тут же отпрянул в сторону. Кира стояла за моей спиной посреди комнаты. Она смотрела на медленно открывающуюся дверь, фигура её была расслаблена, дыхание ровное, лицо спокойное, брови чуть вздёрнуты, в глазах будто бы какая-то пелена. Гвоздодёр почему-то выпал из моей руки и с грохотом ударился о пол. И тут я услышал, как по лестнице удаляются шаги. С полминуты я стоял в оцепенении и смотрел на Киру.

Затем наступила тишина.

Кира вздрогнула, вздохнула, села прямо на пол и, облокотившись о сиденье стула, положила голову себе на ладонь. Глаза её устало и отвлечённо смотрели в сторону. Я подошёл к окну и выглянул наружу. Во дворе никого не было.

— Кажется, их кто-то спугнул, — промолвил я в недоумении.

Я ждал, что Кира что-нибудь скажет, но она молчала. Простояв некоторое время прислушиваясь, я подошёл к баррикаде и отодвинул на несколько сантиметров диван. Им оставалось совсем немного, чтобы ворваться, но что-то спугнуло их. Я протиснулся в дверной прогал, спустился по лестнице на первый этаж. На секунду меня охватила паника при мысли, что это могла быть с их стороны уловка и что они притаились где-то, ожидая, пока мы выберемся наружу. А моё оружие осталось наверху. Простояв в нерешительности на последней ступеньке лестницы, я осмелился — будь что будет! — пройти по комнатам и выглянуть наружу. Никого не было ни в доме, ни во дворе. Я стоял на крыльце и пристально оглядывался по сторонам. Никого! Ни липарей, ни тех, кто мог бы их спугнуть.

Уже совсем рассвело, солнце поднималось над деревьями, пели птицы. От контраста между этим безмятежным, ласковым утром и тем, что две минуты назад произошло в доме, можно было оглохнуть. Я сел на крыльцо, достал из кармана сигарету, сунул её в губы и долго шарил по карманам в поисках спичек, пока не вспомнил, что они у меня кончились. Минут пять я просидел в отупении, а незажжённая сигарета так и торчала у меня изо рта. Мимо калитки пробежал белобрысый кобелёк, запрокинул под деревцем заднюю лапу, немного посуетился и, раздражённо побрыкав за собой землю, убежал прочь. Два воробья, тормоза друг друга, плюхнулись неподалёку от меня на тропинку, обменялись несколькими ударами в челюсть и улетучились. Хлынула и медленно прокатилась волна ветра, словно где-то неподалёку, у озера, махнуло непомерно широкое крыло. Пропищал комар, принохался к капельке пота, стекающей по моему виску, и исчез. Подсыхая, блестела в лучах солнца роса, и трава была зелёная.

Я вытащил изо рта сигарету, сунул её в карман, где она тут же сломалась, растопырив пальцы правой руки и посмотрел, как они дрожат. Встал, вошёл в дом, поднялся на второй этаж. Подходя к двери, увидел всю батальную сцену с другой стороны, со стороны липарей: представил, как они ломятся в эту хрупкую заслонку, отгораживавшую в течение десяти или пятнадцати минут жизнь от смерти. От всего вражеского стана сохранились лишь следы на ступеньках да чей-то плевок на стене. Я с замиранием сердца снова втиснулся в наше убежище и увидел, что Кира как сидела, так и сидит.

— Кира, нам нужно уходить, — сказал я.

Она будто не слышала. Я приблизился, сел перед ней на корточки. Ещё раз обратился к ней:

— Слышишь, они куда-то смылись, но нам надо поторопиться.

Она протянула мне руку, чтобы я помог ей встать, и, наконец, посмотрела на меня. Усталые глаза под припухшими веками едва заметно улыбнулись. Я поднял её; держась за руки, мы вместе спустились по лестнице. В её комнате пол был усеян осколками стекла. В растаявшей лужице воска плавал, догорая, фитилёк свечи, и я, наконец, прикурив.

— Окно пока что завесим чем-нибудь, а дверь просто прихлопнем, — сказал я. — А сейчас тебе нужно срочно в Москву. Я потом приеду и заколочу окно и дверь.

Она не проронила ни слова.

По пути к станции я пару раз просил её идти побыстрее, но она словно не слышала, шла медленно, держа меня под руку, и молчала. Я хотел отвлечь её, поговорить о чём-нибудь, может быть, пустяшном, но как-то не мог сообразить, что сказать. Мимо прошла дородная пожилая баба в жёлтом платье и белом платке, поджав губы, покосилась на Киру, затем остановилась и, видимо, глядя нам в след, сказала:

— И где же только совесть!

Больше всего я опасался, что кто-нибудь из липарей окажется на станции, но по платформе в ожидании электрички разгуливали лишь две какие-то женщины. Час был ранний.

Хорошо, что надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” находится с той стороны платформы, подумал я. Но не тут-то было. Пока я покупал билеты, Кира медленно направилась к ней. Кассирша, как назло, едва шевелилась. Наконец, получив две проштампованные бумаженции, я со вздохом пошёл к проклятому месту.

“Кира”-надпись свежо и нагло белела на зелёной стене. Кира-живая стояла перед нею спокойно и, как можно было подумать со стороны, равнодушно. Она стояла так, будто слушала, будто от надписи исходила глухая тяжёлая музыка, заупокойный хорал. И, как процессия, шли перед её взглядом буквы в белых одеяниях. Кира приблизилась, дотронулась до букв рукой — остановила процессию. Посмотрела на меня.

— Он желает мне счастья, — сказала она, и странная весёлость свернула в её взгляде.

Я пожал плечами:

— Довольно нелепый способ пожелания счастья.

— Ты так ничего и не понял, — усмехнулась Кира. — Его простили. Он не погиб. Он будет спасён. Только сейчас он беспокоится. Помнишь третий стул? Он сидел на нём. Он охранял нас. А потом он...

Она умолкла и, улыбаясь странной улыбкой, смотрела на надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА”. Мы оба стояли и молчали. Стало тягостно.

Спасительно загнула электричка.

— Поедем, — сказал я. — Наша.

В почти пустом вагоне мы сели друг против друга. Я постарался весело улыбнуться.

— А соседшки-то ведь не могли ничего не слышать, — сказал я. — Забились в своих норах. Легко могу себе представить их фотокарточки — и переполох, и спать мешают, и — не ровён час! — убивают кого-то, вроде как-то неловко. “Вась, а Вась, надо б за милицией сбегать”. — “Возьми да сбегай. Без нас разберутся”.

Кира встала и направилась к выходу, будто мы договаривались выйти в Покровке. Я последовал за ней.

Автобуса не было. Бог знает, когда он должен был прийти. Мы вышли на шоссе, я остановил первый попавшийся “Запорожец” и попросил довести до Покровского погоста. День обещал быть солнечным, в машине льющисся сквозь стёкла лучи становились нестерпимо горячими.

— Проведать решили? — спросил бодрый водитель.

— Да, — ответил я. — К родственникам.

— Святое дело, — с пониманием сказал он.

Наконец, когда мы вышли в Покровском, Кира заговорила. Из нагрудного кармашка платья она достала деньги и протянула их мне:

— Зайди к кому-нибудь, купи цветов. Много. На все.

— В такую рань? — взяв деньги, нерешительно сказал я. — Хотя, впрочем, только рады будут.

Выбрав дом позажиточнее, я прошёл через калитку. Цепной пёс, как полагается, зверски облял меня. Хозяйка, сначала очень неприветливая, увидев хорошую сумму денег, медленно оттаяла. Я не ошибся в выборе дома — у хозяйки оказались отличные чайные розы, тугие, высокие, усеянные крупными каплями росы. Когда я срезал пятнадцатую, мне было сказано,

что довольно, я поблагодарил и, держа букет обеими руками, пошёл прочь, но тут спохватился, что цветы не Кире, а Лалакину — вернулся, объяснил, в чём дело, и получил шестнадцатую розу. Бесплатно.

— Хорошие? — спросил я у Киры.

— Да. Очень. Спасибо, — ответила она и сама понесла букет.

На кладбище она попросила меня подождать её возле колодца, я остался, но потом подумал: хрен их не знает, может, какой-нибудь гаврик, из самых чокнутых, дежурит там? И, нагнав Киру, шёл от неё шагах в десяти. Она знала, как идти, да и нетрудно было сыскать — могила Лалакина утонула в цветах, будто свежая.

Положив наши розы поверх всего липовского убранства, Кира несколько минут постояла, потом сказала что-то Лалакину, но слов я не разобрал. Обернувшись, пошла назад. Увидела меня.

— Я подумал, вдруг кто-нибудь из них... — сказал я.

— Неужели ты думаешь, что они осмелились бы здесь, — сказала она.

Лалакину достались не все розы. Четыре штуки Кира отнесла на могилу родителям, которая находилась неподалёку от лалакинской.

Спустя час мы подъезжали к Казанскому вокзалу. Остаток пути Кира уже не молчала, но и не была многословной. А на меня навалилась страшная усталость, глаза слипались. Когда на вокзале мы стали прощаться, я сказал:

— Если хочешь, я оставлю тебе свой номер телефона?

— Не нужно, — ответила она. — Я всё равно не позвоню.

— Всё-таки, — возразил я. — На всякий случай. Хотя бы затем, чтобы узнать, привёл ли я в порядок дом. Да и вообще, мало ли что может в жизни случиться. Легко запомнить: девятьсот пять — революция пятого года, потом четыре цифры — год отмены крепостного права, три последних — крещение Руси.

— Нелегко, должно быть, жить между такими датами, — сказала Кира.

— Я привык, — ответил я. — Позвонишь?

— Едва ли. Хотя... Революция, отмена крепостного права, крещение Руси...

— Я буду ждать. Ну... Прощай.

Она помолчала немного, потом подошла ко мне ближе и поцеловала меня в подбородок.

— Прощай. Храни тебя Бог. И... мне хотелось бы знать, что кто-то думает обо мне иногда... с добром.

— Знай это.

— Прощай.

Когда она исчезла, я снова сел в электричку и вернулся в Липы, на Чистый Просек. Как и утром, мне никто из знакомых не повстречался. Добравшись до кровати, я с наслаждением забрался под одеяло и проспал до самого вечера. Целый день.

Слух об утреннем происшествии и о посещении Лип Кирой уже разнёсся по всему посёлку. Когда поздно вечером я сидел у костра, разведённого мною на краю хозяйского участка, ко мне подошла Любовь Никитична и сказала:

— Помнишь, ты про Киру меня всё спрашивал?

— Про Киру?

— Ну, да, про которую на станции у нас написано. Ну, парень из-за неё под поезд шуганул, Серёжка Лалакин.

— Ну, как же, помню, конечно.

— Говорят, будто она этой ночью приезжала. Вчера как раз был юбилей... то есть не юбилей, а как бы это сказать, дата. Ну, с того дня, как он под поезд.

— Вчера?

— Вчера. Так вот, она, стало быть, и приезжала. А ночью, говорят, к утру ближе, у них там буза была.

— Что за буза?

— Вроде как бы парни наши, липовские, приходили над ней суд учинить. Очень они на неё осерчали за тот случай. Я в магазине в очереди сто-

яла — рассказывают: всё утро у них там гомон большой был. Окно одно разбито, дверь сломали. Повезло ей, что она не одна была.

— Не одна?

— Не одна. Не знают, то ли муж с ней, то ли так, сбоку припёка. Короче, мужчина какой-то. И этот мужчина их уговорил, чтобы они не трепали её и не бузили, а шли бы по домам.

— Что ж они? Пьяные были или так?

— А то трезвые! Трезвые разве ж бы полезли? Хорошо хоть в милицию никого не забрали. А надо б. Всё-таки окно разбили да шум подняли, спать людям не дали в самую рань. По пятнадцать суток бы схлопотали себе.

— Как миленькие.

— И поделом. Людям покой нужен, а они галдят. А ты чего это — листы какие-то жгёшь? Ненужные какие?

— Да вот писал-писал и всё наврал. — В тот вечер мне захотелось не просто убить свой текст “Комментариев” в компьютере, но и предать его сожжению, для чего я распечатал его и теперь швырял в огонь по одному листочку.

— Как же ты так? Ты пиши, чтоб всё по правде выходило. Народу правда сейчас нужна. Очень много неправды получилось. Вон сколько ты наврал-то! Должно быть, год писал? Или больше?

— Да нет, месяц в общей сложности.

— И что же теперь? Заново будешь переписывать или бросишь?

— Подожду пока. Может, новое что-нибудь напишу.

— Ты уж теперь-то не криви. Пиши по-честному. С женой-то не было разговору? Не надумали сходитья?

— Да уж она, должно быть, забыла меня.

— Ну да, забыла! Ещё прибежит, попросится обратно. Ты парень-то не озорной. И образованный, видно. Глядишь, напишешь всё по-правильному, профессором станешь или академиком. От баб отбою не будет. Она и прибежит.

— Оттуда не прибегают.

— Неужто за границу сбежала?

— Сбежала... Да и не нужна она мне больше. К тому же я уж старый буду. Академиком-то.

— А ты старайся. Может, и смолоду успеешь. Вот всё, последняя страница. Кончилась твоя писанина. Там у меня ещё есть ящик поломанный — сожги и его заодно. А в углях картошечку спеки. Дать картошечки или есть?

Так, в беседе с Любовью Никитичной заканчивался мой последний день в Липах. Когда совсем стемнело, я отправился к дому Киры. Нашёл там гвозди и молоток, подобрал несколько лишних досок, чтобы совсем наглухо заколотить окно. Соседи один раз крикнули, что вторую ночь им спать не дают, пригрозили вызвать милицию, но я как раз заканчивал с окном. А чтобы починить дверь, большого грохота не понадобилось. Правда, с замком пришлось часа два повозиться. Хорошо ещё, что он был не взрывной.

Работая, я на всякий случай держал при себе гвоздоёр, но, к счастью, он не понадобился. Никто почему-то не пришёл вторично решать со мной вопросы жизни и смерти.

Часа в три ночи я смёл в мусорное ведро осколки стёкол, вывернул пробки и, захлопнув дверь, навсегда простился с домом Киры Февралёвой.

Вернувшись на Чистый Просек, собрал все вещи, а утром уговорил одного шофёра, взявшего за воскресный день двойную мзду, отвезти меня в Москву. Прощание с Любовью Никитичной было недолгим.

— Жалко, конечно, — сказала она. — Да и то, у меня чтой-то на душе со вчерашнего дня беспокойно. Когда ты ночью гулять ходил, приходили к тебе двое каких-то. И нехорошо так о тебе спрашивали. Не с добром приходили. Не поделил, что ли, с кем чего? Смотри, остерегайся.

И всё-таки не могло такого быть, чтобы я никого не встретил из моих липарей. Когда грузовик, миновав посёлок, сворачивал на шоссе, я увидел Фофана. Он шёл по шоссе с огромной корзиной. Увидев меня, приостановился, выругался и помахал мне влед кулачищем, на котором, как мне было

известно, красовалась накладка “Фофанов Витя” — на всякий случай, чтоб не забыть по пьяной лавочке. Судя по его в момент озверевшему виду, я мог бы теперь объездить полмира, но только в Липы мне лучше было не приезжать. Я ехал и старался это понять.

По возвращении в Москву я ждал, что Кира позвонит мне. И она позвонила, но разговор наш не занял и трёх минут. Она поблагодарила меня за заботу о её бывшем доме, которому она вроде бы уже нашла покупателя, и пожелала мне поскорее избавиться от всех неприятных воспоминаний. Больше с тех пор она ни разу не звонила, и мы ни разу с ней не встретились, даже случайно, на улице, хотя живём в одном городе.

Недавно мне понадобилось снова ехать на электричке по этой дороге, мимо станции с карамельным запахом. Миновав Покровку, я почувствовал, что волнуюсь. Эта электричка в Липах не останавливалась, но ехала довольно медленно.

Сердце моё сжалось, когда я увидел, что надпись “БУДЬ СЧАСТЛИВА, КИРА” всё так же белеет на зелёной стене.